

ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕР

Путь в один конец



im WERDEN VERLAG
DALLAS AUGSBURG 2003

Дидье ван Ковелер
Путь в один конец
Перевод с французского

Didier van Cauweleart
Un simple aller

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Editions Albin Michel S.A. – Paris, 1994

©ООО «Издательство АСТ», 2001

©Н. С. Мавлевич, перевод, 1996

©Г. Р. Зингер, перевод, 1996

©«Im Werden Verlag», 2003

<http://www.imwerden.de>

info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net

Generated by L^AT_EX 2_ε

Моя жизнь началась с того, что меня подобрали по ошибке. Вернее, украли вместе с машиной. Мы были припаркованы в неположенном месте, и, помню, Мамита долго грозила мне, маленькому, когда я плохо ел, что меня заберут на штрафную стоянку. Тогда я начинал торопиться, глотать, как гусак, и в конце концов меня выворачивало и я выдавал обратно все, что съел. Впрочем, оно и неплохо – я не жирел. Вроде как знал свое место: приемыш, он приемыш и есть.

У цыган ребенок – это свято. Он должен быть упитанным, чем толще, тем лучше. До четырех лет с ним носятся как с королем, а дальше – пусть встает на ноги и живет как хочет. Со мной никто не носился, я обошелся без королевского дебюта, был тише воды, ниже травы и не лез на рожон, самый незаметный, самый щуплый. А когда стараешься не высовываться, о тебе никто и не вспоминает.

Часто по ночам мою стоящую не по правилам машину подцеплял полицейский автокран и тасил под пресс, на металлолом. Хорошо, что в фургончике Мамиты всегда бывало полно сопливых королей – хоть один да заорет, – и сон обрывался, прежде чем меня успевало раздавить в лепешку. Целый и невредимый, я снова закрывал глаза. Пухлые цыганята ворочались в темноте, брэнча цепочками и медальонами, и я знал: здесь, в тепле и покое, меня никто не тронет. Счастье, которое я умел ценить, тем более что, как мне часто твердили, был обязан им одному-единственному человеку, старому рому Вазилю. Это он нечаянно украл меня, не заметив на заднем сиденье, среди вороха рождественских подарков, корзинку со спящим младенцем. И на совете старейшин все решил его голос: он горячо воспротивился тому, чтобы меня отдали в приют. В «бардачке» не оказалось никаких документов, и Вазиль решил, что меня послало небо. Ему не стали перечить: он и тогда уже был совсем дряхлым, а по нашим обычаям слово старца, пусть даже выжившего из ума, – величайшая мудрость.

Назвали меня Аметистом, потому что мой фамильный автомобиль принадлежал к семейству «аметист», из рода «ситроенов». Все чин чином – имя соответствовало происхождению. Со временем Аметист превратился в Амисиста, потом в Амисиса и, наконец, в Азиза, так удобнее. Мамите, румынской цыганке, которую во время войны стерилизовали фашисты, такое сокращение не нравилось: она верила, что имя переиначивает человека на свой лад, а я, маленький, был самым настоящим французом. По мне, так все равно. Араб – ну и пусть, даже хорошо, таких много, никто ко мне не цепляется. Когда я встал на ноги и занялся автомагнитолами, пришлось обзавестись липовыми документами – на случай ареста. С тех пор у меня есть и фамилия: Кемаль. Почему так, не знаю. Может, в том году шла серия на «К».

Я часто думал о своих настоящих родителях: наверное, они объявили розыск сына, ждали, что похитители запросят выкуп, а поскольку тело не обнаружено, то все еще надеются. Я давно собирался дать как-нибудь объявление в «Провансаль»: «Ребенок, похищенный под Рождество в «ситроене» модели «аметист», ищет родителей. Писать на имя Азиза Кемалья, синий почтовый ящик напротив «фольксвагена» фургона-пиццерии «У Вазиля», Валлон-Флери, Марсель-Северный». Но все откладывал. Раз уж тебя худо-бедно приняли в одну семью, как-то не тянет делать вторую попытку. Лучше оставаться в неизвестности и не разрушать мечту. Кто я по рождению – еще неизвестно, нынешнее же положение вполне сносно, а от добра добра не ищут.

Иногда я воображал, что моим отцом был нападающий из команды «Марсель-Олимп», который одолжил «аметист» у своего механика на время, пока тот отремонтирует его «мерседес». Иногда представлял себя наследником Марсельских мыловарен. А не то – младшим отпрыском безработного докера: двенадцать душ на одно пособие. В дождливую же погоду и вовсе думал, что родители давно обзавелись другим ребенком и думать обо мне забыли.

Наконец, когда мне стукнуло восемнадцать, я узнал правду. Оказалось, все совсем не так, куда хуже или, может, куда проще, чем я мог предположить. Старый Вазиль вовсе не крал мой «ситроен», он врезался в него своим фургоном-пиццерией на крутом повороте, когда тот пошел на запрещенный обгон. Мои родители разбились насмерть. А меня Вазиль успел вытащить, пока машина не взорвалась. Ну а дальше – все известно. Вазиль тяжело пережил этот случай, с тех пор он ни разу не сел за руль и не запустил свою мини-пиццерию, вот почему, сколько я помню, его фургон всегда стоял застопоренный кирпичами и заросший плющом, а в амбразуре печи была установлена статуэтка Богородицы.

Я был тронут деликатностью, с какой весь квартал так долго и дружно врал, щадя мои чувства, хотя чем-то это меня задевало. Нарядившись в лучшую рубашку, я отправился к Вазилью и церемонно поблагодарил его за то, что он не украл, а спас меня. Он выпростал из-под пледа сморщенный палец и проскрежетал:

– Зачать – еще не создать по образу Отца благим Его произволением, все и вся сотворившим.

Я принял его слова за загадку и не знал, что надо ответить. Впрочем, ни для кого не было секретом, что старый Вазиль совсем спятил, его вытаскивали на свет Божий только по особо торжественным случаям, так что скорее всего никакого ответа на эту бессмыслицу и не требовалось.

Конечно, участь родителей меня опечалила. Но оплакивать, кого не знаешь, не очень легко. И я скоро утешился мыслью, что они по крайней мере не горевали обо мне. А вот чего мне действительно не хватало, и еще долго, так это заветного объявления: я уже не мог по вечерам, перед сном, составлять его в голове, переделывать так и этак, подбирать слова поточнее и покрасивее. Объявление, которое я всегда носил при себе, в глубине души, чтобы в любой момент достать и продиктовать. Теперь оно теряло всякий смысл. Я был сиротой – окончательно и бесповоротно.

Как бы то ни было, но жизнь шла своим чередом. Официально я считался марокканцем со временным видом на жительство в Марселе, подлежащим периодическому возобновлению с оплатой. На мой взгляд, раз уж ксива все равно липовая, так почему было не записать меня французом. Правда и то, что это обошлось бы дороже и я сам не пожелал бы разоряться. У меня свои принципы. Деньги, которые я зарабатываю на магнитолах, должны идти в казну общины, чтобы возместить расходы на мое воспитание, а не изготовителям ксив из Панье, Ну а вообще-то, по-моему, национальность не сделаешь на заказ, это как цвет глаз или погода – такие вещи не выбирают, что есть, то есть. И потом, если кому-то, чтобы удостовериться, что я француз, нужен липовый паспорт, лучше уж я останусь арабом. Из гордости.

Нет, проблемы такого порядка возникают у меня только на футбольной площадке. Вот тут я разрываюсь надвое. Когда играю за цыган Валлон-Флери против арабов Роше-Мирабо, то чувствую себя предателем. И самозванцем в придачу: я ведь знаю, что *рома* не считают меня за своего. А *гаджо* остается *гаджо*, каким бы классным центрфорвардом он ни был, хоть бы даже забивал голы в ворота своих соплеменников. Вот почему в конце концов я стал судьей.

С Лилой мы ровесники, ей тоже девятнадцать. Мы знаем друг друга с детства, но теперь приходится соблюдать осторожность – из-за моего происхождения. Братья прочат ей в мужья такого же чистокровного *мануш*, местного уроженца, из паствы *Святых Марий**, как они сами, Ражко, специалиста по «мерседесам». Поэтому на улице мы с Лилой еле смотрим друг на друга, здрасьте – до свидания, и все. Но раз в неделю она садится в трамвай, я – на мотороллер, и мы встречаемся в бухте Ньолон, это самое красивое место в мире; по крайней мере так я считал раньше, потому что никогда еще не выезжал за пределы департамента Буш-дю-Рон.

Лила научилась от матери гаданию по руке. На моей она прочитала только, что мой путь скоро прервется, а потом, после пересечения, возобновится. У Лилы черные волосы, жгучие глаза, от нее пахнет липовым цветом, и носит она красные или синие юбки до щиколоток, которые раздуваются, когда она танцует, но больше я ничего не скажу – при том, как все обернулось, мне больно вспоминать о ней.

Первое время она все донимала меня рассказами о стране своих предков, в которой сама никогда не была, – об Индии. О тамошних обычаях, священных коровах, украшенных цветами погребальных кострах, куда бросают вдову, если усопший был чистых кровей, – я не особенно вслушивался. Слушать я как-то вообще не привык, разве что в школе приходилось, а туда я уже давно не хожу. Но с того дня, как мы с ней первый раз любили друг друга – я не раздеваясь, она спиной ко мне, чтобы соблюсти себя до свадьбы, ее свадьбы, разумеется! – все это стало не важно. Она сказала мне на своем языке: «Я люблю тебя», – у меня же своего, то есть какого-то особого, языка нет, поэтому вслух я ничего не сказал, но подумал то же самое. А еще подумал, что после свадьбы можно будет уже не заботиться о приличиях и любить друг друга не отворачиваясь.

*Имеется в виду храм «Святых Марий у моря» в городке Сент-Мари-де-ла-Мер, на берегу Средиземного моря, на юге Франции. Согласно христианской легенде, здесь нашли пристанище изгнанные из Иудеи жены-мироносицы Мария Иаковлева и Мария-Саломея. Дважды в год, в мае и октябре, сюда стекаются паломники, в основном французские цыгане. – (Здесь и далее примеч. пер.)

Вечером, перед сном, у нас любят поговорить о предках, о краях, где они жили, посетовать на то, что с появлением нержавеющей стали закатилась слава клана *Кэлдерары*, потомственных жестянщиков-лудильщиков, вспомнить под переборы гитары и трели губной гармошки о гонениях, погромах и законах, из-за которых все и очутились здесь, в Валлон-Флери, в департаменте Буш-дю-Рон, и сменили колеса фургонов на кирпичи, и странствия – на воспоминания. Я при этом сижу и молчу. Киваю для вида головой, но пропускаю все мимо ушей.

Меня огорчает не то, что у меня нет родины – если не считать «ситроена», – это бы ладно, а то, что я один такой.

Счастье я нашел в школе. Учиться – вот настоящее счастье. У меня появилась своя собственная семья, из слов и цифр, которые я мог тасовать по своему усмотрению: склонять и спрягать, складывать и вычитать, – и все меня понимали. Все слушали, когда я отвечал у доски о какой-нибудь битве или реке, как будто рассказывал о самом себе. Миллионы погибших – жертвы войн, наводнений, заговоров – приносили мне хорошие отметки. Но лучшей наградой была сама возможность изучать рельеф и климат любой страны, не потому что ты оттуда родом, а потому что она есть на свете. И ведь это было только начало, предстояло узнать еще столько нового – на всю жизнь хватит!

Но в шестом классе школу пришлось бросить – в Валлон-Флери не любят дармоедов. В пять лет малец уже работает «кукушкой» – стоит на стреме; в семь «стрижом» – стрижет первые кошельки; а в одиннадцать дорастает до «голубка», разведчика на мопеде, и уходит из школы. Так заведено.

Господин Жироди, наш учитель географии, очень жалел, что я ухожу, хотя мы с ним не так уж много беседовали помимо уроков: я не мастер вести разговоры, так трудно ухватить нужное слово, они все ускользают и отбиваются, как рыбы, когда пытаешься их вытащить из воды, куда приятнее стоять и смотреть, как они плавают. Господин Жироди сказал, что в жизни все устроено несправедливо; ему виднее: он прожил на свете уже полвека. В Марселе, сказал он, в других кварталах, есть нормальные школы, где никаких тебе каракулей на стенках, никаких наркотиков, драк и краж, и я заслуживаю лучшего, потому что хочу учиться. Он был такой печальный, когда говорил все это, я никогда не видел, чтобы человек так расстраивался, и подумал: может, оно и неплохо, что я бросаю школу, раз школа – это так печально.

Господин Жироди пожелал мне счастья и подарил потрясную книгу, трехкилограммовый атлас «Легенды народов мира». Я ничего не сказал – боялся расплакаться, мне ведь столько раз внушали: «Араб должен быть гордым»; но подумал про себя: «Да хранит тебя Пророк на всех путях твоих». Просто повторил, что слышал от других, без особой веры, но с чувством.

Когда я украл свою первую автомагнитолу, «Грюндиг», то отослал ему по почте в подарок и приложил записку: «От Азиза из 6 «Б», с благодарностью за вашу доброту». И решил про себя, что, когда вырасту, украду для господина Жироди машину, чтобы он на ней ездил, а то ему все приходится в автобусе. А потом как-то забыл и не успел из-за приключений, которые посыпались мне на голову.

Так вот, пока все сидели у костра и рассказывали друг другу про Румынию, Турцию, Северную Индию и разные другие страны, откуда их выгнали, я учил наизусть легенды народов мира, особенно арабские, раз я сам араб. А поскольку неизвестно, из какой именно я страны, то было вернее изучить сказки, чем повседневную реальность, ее было сколько угодно в газетах, которыми я пользовался для упаковки моих магнитол на продажу.

Краем глаза я посматривал сквозь языки пламени на Лилу; она сидела рядом с Ражко, своим суженым, специалистом по мерседесам», а он подыгрывал на гитаре рассказам о гонениях. Я же подыгрывал своей тоске, рассказывая сам себе историю о любовниках из Имильшиль: как юноша из племени аит Брагим влюбился в девушку из враждебного племени, как из их слез появилось два озера: Исли, озеро Жениха, и Тислит, озеро Невесты (см. стр. 143 моего атласа), в которых сродники утопили их обоих, порознь, чтобы не допустить нежелательного брака.

Как-то жарким июльским днем в нашей бухте, когда мы с Лилой были вместе, а потом сидели на камнях, я тихонько нашептал ей на ухо историю влюбленного Брагима. Лиля решила, что я рассказываю про какого-то своего приятеля из арабских кварталов, послушала и пошла нырять за морскими ежами.

Порой, когда я отправляюсь в другие, французские, кварталы Марселя, чтобы поглядеть на новые модели автомагнитол и сориентироваться в ценах, мне попадаются на глаза молодые пары и вдруг страшно хочется очутиться на их месте. Но это проходит. Пусть в Валлон-Флери мне не хватает тепла и ласки, зато я принят в деловое братство. Тут я такой же член клана, как остальные: у меня широкая улыбка, ловкие руки и быстрые ноги.

Одна из наших коронных штук – это итальянский набег. Итальянцы, наоборот, говорят «цыганский набег», но они в меньшинстве. Делается это так: вы останавливаетесь у светофора, тут подъезжает мопед, и вам протыкают шину, а потом услужливо помогают сменить колесо и по ходу дела угоняют машину. Полиция советует тем, кому никак не объехать наших кварталов стороной, не останавливаться на красный свет. Чудесный совет, но кто не останавливается, тем устраивают столкновение. Дальше составляется протокол с обещанием заплатить по договоренности, хозяин уходит пешком, и по дороге его грабят. Это другой способ атаки, «бельгийский». Машину увлакивают в поселок и разбирают по деталям, каждая бригада получает свою долю: одним достаются части двигателя, другим – покрышки, третьим – всякие мелочи, а мне – автомагнитолы. Чаще всего мы имеем дело с «мерседесами», причем мастер вроде Ражко, чтобы не копился лишний товар, работает только по предварительному заказу. Вы говорите ему: «Ражко, мне нужна прокладка головки цилиндра для пятисотки», – и на другой день вы эту прокладку получаете.

Когда остается один кузов, его вытаскивают на окраину, чтобы забрали мусорщики, иначе некуда будет деваться от рухляди. У нас тут не кладбище машин. Валлон-Флери – наша гордость, мы даже посадили цветы, чтобы оправдать название*, так что Мамита права: со временем имя отпечатывается на самой вещи.

Вот и я, став Азизом Кемалем, лет в пятнадцать ударился было в мусульманство. Но увлечение было недолгим: мне слишком нравились губы Лилы, чтобы я пожелал запрячь их под чадру. Я вернул Коран Сайду, сторожу одного из арабских кварталов, который поставил рекорд: целый год отваживал бейсбольной битой от своего участка торговцев травкой – и продолжал болеть за «Марсель-Олимп».

*Валлон-Флери (Vallon-Fleuri) – Цветущая долина (фр.).

Жизнь у нас в Валлон-Флери мирная, облавы бывают редко. Надо сказать, что, вздумай какой-нибудь страж порядка затеять проверку паспортов в северных кварталах, его для начала выперли бы оттуда, а потом префект еще и намылил бы ему шею, потому что у него, у префекта то есть, свой способ снижать преступность – делать вид, что нас не существует. Официально Марсель-Северный превратился в пустыню. Даже на карте нет наших районов. На двести тысяч как бы несуществующих жителей чисто символически оставили три десятка полицейских, и мы взялись охранять их как исчезающий вид.

Нет, кроме шуток, префект оказался по-своему большим хитрецом: всем известно, что, если на полицейского нападут и он напишет жалобу, его начальство никогда не передаст дело в суд, чтобы не портить статистику; ну, мы своих легавых пожалели и, вместо того чтобы на них нападать, постарались установить самодисциплину. Зная, что патрульные бригады, по пять машин каждая, колесят по улицам одна с полудня до семи вечера, другая – с семи вечера до четырех утра, мы стараемся работать с четырех утра до полудня, когда они спят, так что все довольны. Они же, в благодарность за нашу тактичность, открыли у нас оптовый рынок; теперь мы можем посылать туда своих пацанов отовариваться бесплатно, вместо того чтобы обчищать «Леклерк» и «Казино», солидные лапочки, куда ходят местные старики, которые за неимением лучшего способа вынуждены платить в кассу. Этих старичков у нас все уважают. Тем более что многие из них живут тут по несколько десятков лет в собственных квартирах, на три четверти обесценившихся из-за соседства с нами.

Нет, в целом в Марселе-Северном все идет неплохо. Иногда до нас докатываются даже столичные фокусы. Приезжают разные комиссии, которые нас изучают и вносят предложения, как улучшить наш уровень жизни. В прошлом году, например, у нас в Валлон-Флери здорово улучшили солнечную освещенность: взяли и снесли старые многоэтажные башни – дескать, на верхних этажах гнездится преступность. Если так, то нам опасаться нечего: цыган, даже такой приемыш, как я, не переносит высоты. Жить в башнях мы просто не смогли бы, так же как в длинных лежачих коробках, там, должно быть, с правонарушениями дело обстоит не лучше, чем в стоячих. Как только в коробке освобождается квартира, жилищное управление не сдает ее новым жильцам, а замуровывает. Наверное, ремонт обошелся бы дороже.

Когда одна такая комиссия заявила в Валлон-Флери, все получилось замечательно. Мы их радушно встретили, угостили анисовкой, чтобы привести в чувство, а то они прибыли только что от коморцев из квартала Басс-Робьер, где на них свалили из окна холодильник. Небольшой концерт: цыганский джаз, фламенко, джипси кингс – и нервы в порядке. Комиссия поблагодарила нас за теплый прием. И унесла с собой корзинки, которые протягивали детишки, – решила, что это подарки. А потом в новостях зачитали ее отчет: «цыганское население» не может приспособиться к городской жизни, потому что ютится в фургончиках, и из-за этого все его беды. Что ж, кто не знает, так и подумает. И вот на месте старых развалюх, где у нас были устроены механические мастерские, нам отгрохали типовые дома компании «Буйиг».

Мы были очень довольны. Пока шло строительство, мы даже цемент не воровали: для нас же строят, так пусть заканчивают поскорее. Наконец все отделали и наступил торжественный день, понаехало народу: вся та комиссия, да еще префект, представитель строительной фирмы, телевидение, – нам должны были вручать ключи. И тут обнаружилось, что ключи некуда вставлять: нет не только замков, но и дверей, а также оконных рам, раковин и унитазов – все размонтировано и продано в розницу. Черепицу на крыше не тронули – оставили до зимы, когда на нее выше цены. Господин от фирмы «Буйиг» позеленел от злости, прогнал телевизионщиков; префект, кажется, готов был сквозь землю провалиться. А что расстраиваться? Нам домики очень даже понравились, такие миленькие, так приятно на них смотреть

из окна фургончика. Они создают среду – мы так им и сказали в утешение. И поздравили их, и пригласили – милости просим, работает буфет.

Они же не притронулись ни к вину, ни к закускам, а мыто старались, наготовили деликатесов из их родных продуктов, специально по такому случаю позаимствовали в аэропорту на складе Фошона. Комиссия уехала, а мы остались, как дураки, с целой горой заливных яиц и омлетов с лососиной. Пришлось все это съесть самим, причем оказалось не так уж вкусно.

Позднее пришел Пиньоль, чтобы мы подписали заявление: получалось, что мы понесли убытки от самих себя. Он помог нам прикончить угощение.

Мы с Пиньодем приятели с детства. Познакомились в школе, только я ушел, а он остался учиться дальше и иногда жалеет об этом, глядя на меня. Сначала он хотел работать на железной дороге, но не прошел по конкурсу в училище и тогда пошел по стопам отца. Вот когда порадуешься, что ты сирота. Да еще полицейскую школу нарочно разместили на границе двух неблагополучных кварталов, чтобы ученики не отрывались от населения. Что-что, а это удалось в полной мере: бедняги занимаются за решетками, в постоянной осаде и под обстрелом, в них швыряют камнями и пивными банками – отличная практика! Днем они сидят в школе, как в бункере – выходить без охраны не разрешается, – а вечером их отвозят в общежитие в воронке, и все это называется «оставаться в лоне закона». Общежитие находится в другом горячем местечке, в квартале Жан Жорес, там их всю ночь караулит патруль, только тем и занимается, что защищает будущих полицейских от их будущих жертв. Естественно, в результате такого образования у воспитанников копится ненависть, а поскольку у нас ей не дают выхода, то образуется избыток не востребуемых эмоций, которые находят применение в лионских пригородах, где не так культурно, как здесь.

По воскресеньям я обычно навещал Пиньоля, мы с ним сидели в зале для посетителей, и мне было не очень весело: разве не обидно, что он, делавший такие успехи во французском, вынужден теперь только стрелять в тире да резаться в карты до полного отупения! Будущее, в обмен на загубленную за решетками полицейской школы юность, не сулило ему ничего хорошего, а пока отец, работавший там же инструктором, обзывал его олухом, слабаком и тряпкой. Просто многим старым полицейским псам, когда-то командовавшим в Марселе, теперь не на ком отыграться, кроме как на несчастных учениках.

Я всегда, как мог, помогал Пиньолю. Когда он стажировался в патрульной службе, я предупреждал его, в какие места лучше не соваться, и даже подстроил для него парочку мелких задержаний с поличным, чтобы он получил свой диплом. Когда-то он мне давал списывать диктанты, а теперь настал мой черед выручать друга – все нормально.

Как-то раз, когда он с кислым видом тянул пиво, я рассказал ему одну легенду из моего атласа. Кубинскую, про Хосе Луиса, молодого парня, как мы, который по ночам с помощью заклинаний «воду»*, позволяющих переноситься из сна в явь в любом образе, превращался в ягуара. И вот этот Хосе Луис много ночей подряд пытался обольстить ягуариху, а она его не хотела. Ему было так плохо, что он забросил все, что должен делать взрослый ягуар, не охотился и не приносил пищу детенышам, а только предавался отчаянию; и то же самое творилось с ним днем: вместо того чтобы убирать сахарный тростник, он вздыхал по чужой жене. В конце концов духам «воду» это надоело, и в одно прекрасное утро Хосе Луиса нашли в постели мертвым: его, человека, загрыз тот самый ягуар, которым он был во сне.

Пиньоль только пожал плечами и сказал, что я утопист. А я пожалел, что он не понял смысла моей истории, такого, кажется, прозрачного: кто с головой уходит в отчаяние, того могут пожрать собственные химеры, внезапно обратившиеся против него самого.

*«Воду» – магический культ, распространенный среди негров Антильских островов и Гаити.

Интереса ради я зашел в книжный магазин и посмотрел в словаре, что такое «утопист». Оказалось, это слово придумал в 1516 году некий господин Мор, образовав его от греческих корней, и означает оно что-то вроде «выходца ниоткуда». Что ж, неплохо.

С того дня и до тех пор, пока на меня не свалилось мое приключение, я больше никогда никому не рассказывал легенд. Держал их при себе, они были моим миром, не доступным ни Лиле, ни Пиньолю. Мало-помалу старый красный с золотом фолиант, потрепанный, зачитанный до дыр, стал для меня родной страной, землей предков. Была там одна сказка, австрийская, которую я особенно часто перечитывал. В ней рассказывалось об одном человеке, который однажды, купаясь в озере, залюбовался кувшинками и подплыл к ним поближе. Они были так прекрасны, так безмятежны, с ними было так хорошо, не то что с людьми, которые швыряли в него камни, потому что он еврей. И вот он протянул руку, чтобы потрогать цветок, и тут стебель плотно обвился вокруг его ноги и утянул его на дно озера. А там он нашел чудесное подводное царство, где его окружали рыбы-красавицы и водоросли-друзья и где ему дышалось лучше, чем на земле.

По ночам я лежал и мечтал прикоснуться к такой кувшинке, причем не только из-за людской жестокости. Я ведь вырос среди кочевников, хотя и временно осевших на одном месте, и меня часто томило страстное желание уйти в дальний путь, но что толку идти одному – я и здесь один! Лила смогла бы отправиться со мной не прежде, чем овдовеет, а Ражко был в добром здравии.

Часто, читая легенду за легендой и не покидая своего прислоненного к столбу фургона без колес, я забывался и воображал себя на дне озера, куда рано или поздно непременно попаду. Когда-нибудь буду вот так перебирать слова, и они увлекут меня в глубину, а над раскрытой книгой никого не останется.

Мы с Лилой искупались в зажатой меж холмов бухточке, там была пристань, много лодок, наверху стоял старый вокзал с синими ставнями, полустертой росписью по фризу и высоким гребнем крыши, над которым сновали ласточки. Мы занимались любовью прямо в воде, под учебной скалой альпинистов, откуда ныряли бледнокожие студенты, и их вопли и смех заглушали нашу возню. Потом мы сидели на терраске кафе «У Франсиса», спокойно попивали коктейль и любовались закатом над бухтой, как вдруг Лиля собрала свои тяжелые волосы, скрутила в жгут и, энергично отжимая, сказала:

– Ну вот.

Таким тоном, что я удивился. Как будто объявляла о чем-то неотвратимом. Поначалу я решил, что это относится к погоде: в самом деле, над виадуктом собирались тучи, и мне на руку уже капнула капля. Я сказал, что на будущей неделе будет теплее. Но она сказала «нет» еще более значительным тоном. Тогда я понял. Последнее паломничество к Святым Мариям они с Ражко совершили вместе, и теперь дело было только за тем, чтобы собрать Лиле приданое, а ее братья вот-вот должны были повернуть крупное дело: перепродать жилищному управлению партию в тысячу бронированных дверей, которые были украдены в декабре. С одной стороны, все это причиняло мне боль, с другой – я уважал Ражко. Прекрасный механик, это он научил меня справляться с сигнализацией на магнитолах и с секретным кодом. Можно сказать, Лиле повезло с женихом. Я знал, что она впустила его через парадный вход, но не ревновал. Я готов был удовольствоваться задним, только бы меня не отлучили вовсе. В конце концов, любовь «не в том, чтобы смотреть друг другу в глаза, а в том, чтобы вместе смотреть в одну сторону», как было сказано в диктанте из Сент-Экзюпери, который я когда-то написал всего с тремя ошибками.

– Значит, – сказал я, – твои братья продали двери.

Она пожала точеными плечами; может, сегодня я в последний раз обнимал их в воде.

– Этого надо было ожидать, – сказала она.

– Но мы все равно будем встречаться, – проговорил я сдавленным голосом.

– Нет. Ражко узнал про нас с тобой. Он не отказывается жениться на мне, но я поклялась, что между нами все кончено и ты для меня больше не существуешь.

Ну, раз так... Я проводил ее до станции. И наш роман оборвался на залитой солнцем платформе: вокруг счастливые парочки в мокрых купальниках, с блестящей от морской соли кожей. Она поднялась в вагон, а я глядел на ее облепленные юбкой бедра и не мог представить себе, что через десять лет она станет как мать, наберёт те же сто десять килограммов – наследственность беспощадна. Мы могли бы полнеть вместе, так нет же – я так и останусь тощим. Однако на самом доньшке души во мне тлела смутная надежда и не давала совсем отчаяться. Предчувствие никогда не обманывало меня, и хоть я не умею читать по руке, как Лиля, которая все говорила, что, судя по линиям, я веду двойную жизнь, а меня, при моей верности, это бесило, – но если почему-то несчастье не вызывает у меня бурю переживаний, на то оказывается причина.

Когда за десять дней до свадьбы во время ночной вылазки на склад «мерседесов» Ражко нарвался на охранника и был убит, я возблагодарил Святых Марий, Пресвятую Богородицу, Аллаха и «Марсель-Олимп» – всех богов нашего града Марселя. Во мне говорила не злоба, а любовь: я ведь давно молился, чтобы Лиля овдовела да поскорее, пока не успела слишком раздобреть.

Весь Валлон-Флери знал, что Ражко потребовал у Лилы залог супружеской любви и получил его, выходило, что теперь она обещена, и мне это было на руку. Я пошел к старшему брату Лилы Матео предложить себя взамен Ражко. В уплату за невесту готов был отдать

дюжину лазерных «Пионеров» и сорок «бозов». Лучшего претендента на товар б/у было не найти. Состоялся совет старейшин, и дело было решено в мою пользу с перевесом в два голоса; оба они принадлежали старому Вазилю: из уважения к возрасту его голос считался за два, хоть он уже не помнил, как его звать. Матео скрепя сердце был вынужден согласиться. Чудные они иногда, эти *мануш*: предпочитают оставить девушку на всю жизнь обесчещенной, незамужней и пятнающей честь семьи, чем уступить ее со скидкой *гаджо*, который покрывает позор и заберет ее из дома.

Сама Лила не прыгала от восторга, когда узнала, что я добился своего. Она печально улыбнулась и сказала:

– Рано радоваться, Азиз.

Я подумал, что она просто хотела несколько осадить меня: как-никак, она еще носила траур. И только через месяц, когда пришел день помолвки и оборвалась моя первая жизнь, понял, что она имела в виду.

Я выбрал кафе «Маршелли», расположенное на границе нашего квартала, на мосту через железную дорогу. Там обычно велись все переговоры по поводу наркотиков – на своей территории мы этим не занимаемся. Принципиально, Наша коммерция стимулирует производство: чем больше машин украдено, тем больше будет продано, героин – дело другое, это прямой вред потребителю, не говоря уж о первоначальных затратах на первую, бесплатную, дозу, чтобы только посадить на иглу. Лично я торговцев травкой беру на таран своим фургончиком. А когда рискую схлопотать крупные неприятности, перекрашиваю его.

Так вот, я выбрал для банкета в честь помолвки «Маршелли», потому что там настоящие скатерти на столах, приличное меню и можно украсить зал, к тому же это почти заграница, чем не свадебное путешествие.

Я пригласил стодвадцатикилограммовую мамашу невесты, которую домашние принесли вчетвером в плетеном кресле; дюжину братьев с женами, кучу дядюшек, и все они затарахтели на своем языке, *синти*. Я не понимал ни слова, у Мамиты, царствие ей небесное, если что, говорили на *кэлдерары*, а вообще разные кланы общались между собой только по-французски. Обстановка была несколько напряженной, к моей досаде, потому что я постарался, как мог. В смысле убранства получилось неплохо, а что касается остального, я не успел ничего оценить – нагрянула полиция.

Пиньоль был в отпуске, и некому было меня предупредить. Ворвались четверо с пистолетами – и давай шуровать: руки вверх, лицом к стене! А мы как раз подняли рюмки, и первым нашим побуждением, понятно, было пригласить их выпить с нами. Но нас не поняли, схватили, скрутили, учинили форменный цыганский погром – не говорю «арабский», потому что арабов, кроме меня, не было. Я спросил, что мы такого сделали, мне ответили: «Заткнись!» Не иначе как они хотели выслужиться перед временным начальством – Пиньоля замещала какая-то тетка. Устроили «примерную» облаву, а поскольку в машине было только одно свободное место, забрали одного человека – меня. Видно, рассудили, что одним этническим конфликтом станет меньше. И не ошиблись.

Цыгане и не подумали за меня заступаться. Матео даже влепил пощечину Лиле, когда она заголосила: «Азиз!» Маршелли, хозяин кафе, как ни в чем не бывало протирал стаканчик – дескать, все в порядке, дело обычное. Когда меня выводили, я успел услышать, одновременно с дверным колокольчиком, его вежливое: «До свидания, господа». Думаю, что гости умяли угощение – за все уплачено, не пропадать же.

Лила еще пробежала метров двести за полицейской «Рено-19», держа в руках белые туфли и оглашая округу отборной руганью – чем-чем, а голосом ее Бог не обидел, и проклинать она умела так, что небу жарко станет, – а потом остановилась, бессильно всплеснула руками и как-то неопределенно помахала мне вслед. Из заднего окошка я видел, что она вернулась в кафе, где уже, должно быть, приступили к закускам. И, странное дело, я почувствовал нутром, что между нами все кончено. Лиле пришлось выбирать между женихом, которого увозят, и ужином, который остывает, – и она сделала свой выбор. Возможно, я несправедлив к ней – все-таки она бежала за машиной. Но я, как Астириос Македонский, греческий прорицатель со сто пятнадцатой страницы моего атласа, который прочитал по печени жертвенного цыпленка, что его хозяин Эпиранд убьет его, и тут же сказал ему об этом. Я всегда знаю, кто причинит мне зло, хотя сам человек, может, еще и не собирается.

Меня заперли в клетку, где держат всех, кого загребли, пока не успеют рассортировать. Мне было неловко перед другими за свой прикид: белый костюм от Эштера, брюки с отворотами, по моде, и классическая рубашка в полоску с галстуком натурального шелка от Пьера Кардена, – но объяснить, что меня забрали в день помолвки, я не успел, меня сразу повели на разбирательство. И тут меня ждал сюрприз.

В кабинете комиссара я увидел Плас-Вандома, ювелира из Панье, у которого купил кольцо для Лилы, потому что подарок для невесты порядочные люди не крадут, – так вот этот самый ювелир сидел в кресле, сложив ручки на брюхе. Я выбирал престижную фирму, а когда на красном кожаном футляре белыми буквами вытеснено «Плас-Вандом, Париж» – это солидно, «Садись! – приказывает мне комиссар. – То есть садитесь». Видно, префект наказал ему, чтобы все было без сучка, без задоринки. Я сел. И тут Плас-Вандом меня как обухом по голове огрел: я, говорит, ограбил его лавку. Комиссар спросил, узнаю ли я футляр. Еще бы не узнать – они его нашли у меня в кармане, когда обыскивали в кафе, я ведь не такой чурбан, чтобы дарить невесте кольцо, едва успели сесть за стол. Но я за него заплатил, выложил восемь с лишним тысяч, честь по чести! А Плас-Вандом уперся: цена верная, но кольцо я у него, видите ли, украл.

Комиссар спросил, есть ли у меня чек. Я пожал плечами – не стану же я дарить кольцо, завернутое в чек, что я, приличий не знаю! Он предупредил, что все, что я скажу, может быть использовано против меня, и я сначала чуть не засмеялся – вот и будь после этого честным! – а потом чуть не заплакал, когда вспомнил, что чек-то я и не спросил, забыл – не так часто что-нибудь покупаю.

– Спросите, – говорю, – у Плас-Вандома, чек у него.

Хотя сам понимал: сказать такое – все равно что ничего не сказать. Плас-Вандом вздохнул, покачал головой и воздел глаза к потолку. Тут я вскочил и чуть ему не врезал, но меня удержали и усадили, разорвав попутно фирменный рукав, так что больше уж я не рыпался, спросил только, когда вернется из отпуска Пиньоль, да и это было не очень удачно, они только обозлились на меня, снова засунули в обезьянник, и там, в компании торчков, я разрыдался как девочка, потому что такая несправедливость случалась со мной первый раз в жизни.

Потом я подумал про атлас: он остался у меня в фургончике, который даже не закрывается; если у меня его украдут, это будет еще хуже, чем потеря Лилы; ее я любил просто так, потому что мы вместе выросли, атлас же – бескорыстный подарок человека, который делился со мной знаниями, а это самое главное на свете, это мои корни, моя связь с миром, и вот теперь у меня все отнимут, а галстук отнимать не стали, чтоб я сам убедился, какой я трус: вешаться не пожелал, зачем-то еще хотел жить.

День прошел, как будто перелистнулась страничка, притом пустая страничка. Обо мне все забыли, все, что у меня было, подошло к концу – хотя и была-то самая малость. Впрочем, жаловаться не на что: девятнадцать лет прожил и никому ничего плохого не сделал, не считая Плас-Вандома, которому свернул-таки шею, представив, что вилка – это его голова. Поэтому варево, которое мне принесли, пришлось есть пальцами, так я отметил свою помолвку, ну и ладно, пусть себе Лиля станет шлюхой, пусть продается по пять франков за кило живого веса, я так любил ее, так долго и так сильно, любил только ее одну, жизнь была так прекрасна, когда мы с Лилой купались в море в Ньюлоне, и лучше бы старый Вазиль оставил меня гореть в моем «аметисте» на фриунском повороте.

Наступила ночь, весь обезьянник дружно храпел, а я не мог глаз сомкнуть, перебирал в уме все, что случилось, что было и чего не было – лишь бы не думать об атласе и совсем не упасть духом.

На другой день меня перевели в одиночную камеру. Явился какой-то тип в темном костюме, попросил меня встать, повернуться, улыбнуться. Потом облегченно вздохнул и сказал комиссару:

– Ну вот, этот подойдет!

Комиссар сказал мне «спасибо», и они вышли из камеры. От нечего делать я подумал о Мамаду М'Ба, герое эфиопской легенды, и стал представлять, как меня поведут продавать на рынок рабов, но у меня ничего не вышло. Перед глазами стоял Ражко, его улыбка, его гитара, его проворные пальцы. Он научил меня моему ремеслу, Лила наверняка была бы с ним счастлива, а он умер ни за что ни про что. Я мысленно просил у него прощения.

Наконец появился Пиньоль, вышел из отпуска. Я думал, он меня отпустит, но не тут-то было, я сразу это понял по его кислой физиономии. Он сказал, что дело не во мне лично, я должен понять. Я сказал, что все понимаю, кроме подлости Плас-Вандома. А он сказал, что Плас-Вандом – это только деталь. Вот как? Что ж, я согласился, главное – мой атлас. И попросил его сходить ко мне, а он говорит: незачем, его коллеги уже ходили, собирались сделать обыск, а там ничего нет.

– Совсем ничего?

Он положил руку мне на плечо. У меня уже кто-то «побывал», и по тому, как он произнес это «побывал», мне все стало ясно. . . Значит, остался только фургончик, пустой каркас. Специально спрашивать про атлас я не стал – зачем лишний раз расстраиваться. У нас, как у зверей: пока ты со всеми, тебе помогают, но если ты ранен – тебя прикончат в интересах стаи. Ничего не попишешь.

Пиньоль добавил еще, что документы у меня хуже некуда. Такая грубая фальшивка – прямое издевательство. Я ничего не ответил, ведь получал-то я их у Плас-Вандома, скажешь – еще хуже будет, что я докажу без чека! Ювелир работал на два фронта, это все знали, и краденым приторговывал, и в полицию стучал. У него небось была рука в префектуре, куда мне с ним тягаться!

– Тебя отправят домой, Азиз.

Я поблагодарил, но отказался: никакого «дома» у меня больше не было, Лилу я потерял, так что пусть лучше судят.

– Да нет, Азиз. «Домой» – значит на родину.

– На какую родину?

– В Марокко.

Сначала я ничего не понял, но потом сообразил: действительно, в паспорте я значился марокканцем, а мог бы с таким же успехом оказаться тунисцем, алжирцем или сирийцем, было бы правдоподобно, а кто я на самом деле – никто не знает.

– Понимаешь, им нужен пример. И они обязаны выслать тебя на родину.

Ну, это уж извините! Послужить примером я готов, но хватит того, что всю жизнь я считался иностранцем в своей стране, ехать в чужую, где меня будут считать своим, я не собирался. И так уже хлебнул лиха с цыганами. Я, Азиз из «ситроена-аметиста», такой же марселец, как ты, какого черта, Пиньоль! Это же видно и слышно!

Но я и сам понимал, что мне нечего возразить: даже физиономия говорила не в мою пользу, все, ну все против меня! Чтобы не расплакаться перед Пиньодем, я попросил его поблагодарить префекта от моего имени.

– Это приказ сверху, Азиз. Правительство приняло меры против нелегальных переселенцев. Вернее. . . в их защиту. Это совместная акция комиссии по правам человека и ОММ, отдела международных миграций.

И Пиньоль объяснил мне в общих чертах, что для искоренения фашизма во Франции необходимо выслать всех эмигрантов в их страны. Я выслушал молча, но мне показалось странным, что ради искоренения идеи ее применяют на практике. Пиньоль добавил, что я улетаю завтра утром из Мариньяна и что специальный служащий, так называемый гуманитарный атташе, будет сопровождать меня в Марокко; его задача – все проконтролировать, помочь мне освоиться, найти работу, жилье и, как говорилось в инструкции, «привезти во Францию добрые вести о ее возвращенных на родину друзьях».

Этот атташе, по словам Пиньоля, уже должен был быть здесь, но опоздал на поезд и придет следующим. Неплохое начало, съязвил я. Просто хорохорился перед Пиньодем, дескать, ко всему надо относиться с юмором. На самом деле я был страшно расстроен. Пиньоль тоже. Тут его кто-то позвал, и он бессильно развел руками, запер меня в моей клетке и пошел обедать. Мне тоже принесли миску и вчерашнюю вилку, которой я свернул шею вместо Плас-Вандома, так что пришлось опять есть руками, и еда была та же самая, как будто время застыло. Зато завтра я лечу на самолете, и я стал ждать.

Около пяти снова пришел Пиньоль. Он избегал смотреть мне в глаза, но я за это время успел подумать и успокоиться.

– Приехал твой атташе, – уныло пробормотал Пиньоль.

Я продолжал себе сидеть, скрестив ноги, с самым беспечным видом.

– Ну и что, передали ему мои документы?

– Да.

– Отлично, он, значит, заметил, что они фальшивые?

– Нет.

Я перестал разглядывать ногти.

– Он заметил только, что у тебя просрочен вид на жительство.

Пиньоль уселся на койку со мной рядом, опустил голову и свесил руки между колен. Меня снова охватила тревога.

– Но вы ему сказали, что паспорт липовый?

Он ответил не сразу. Вытащил изо рта жвачку и стал скатывать пальцами. Только когда скатал гладкий шарик, изрек, что так или иначе, хочу я или нет, но положение у меня незаконное. Я возмутился:

– Да я нахожусь в нем с самого рождения!

Он скорчил гримасу, чтобы я заткнулся:

– Пойми, Азиз, вот уже три дня, как эти молодчики не дают жизни всему полицейскому управлению. Подавай им нелегально проживающих! Вынь да положь! Прямо взбесились! Перетрясли весь спецприемник, а того не могут в толк взять, что парни, которые попадают без документов, ни за что не скажут, откуда они, чтобы их некуда было выгонять; все наши вопли им пофигу, отсидят неделю – и их отпустят, таков закон.

– А я почему не имею права отсидеть неделю?

– До тебя единственный, кого они нашли для выдворения, был негр из Басс-Терра*. Уже и билет ему взяли. Забыли на минуточку, что Гваделупа – французская территория. Представляешь?

Представить не трудно, но это их проблемы. Я-то марселец, у меня и душа, и акцент коренного марсельца, в любом случае сомнение должно истолковываться в мою пользу, и если уж меня куда-то выдворять, то не дальше фриунского поворота. Моя родина – департамент Буш-дю-Рон, квартал Валлон-Флери, моя команда – «Марсель-Олимп».

*Басс-Терр – порт в Атлантическом океане, столица Гваделупы.

Пиньоль испустил глубокий вздох, сводивший на нет все мои аргументы:

– Ты, Азиз, первый иностранец, задержанный с паспортом, в котором указано, из какой ты страны.

– А если я скажу, что это неправда?

– Ну и что это тебе даст? Отсидишь два года в «Бометте» за поддельные документы и кражу кольца. Тебе что, так важно считаться французом?

И он поднял на меня глаза, в которых я в последний раз увидел дружеское участие. Он явно был уверен, что мне улыбнулась удача. Здесь меня ничто не удерживает, будущего у меня здесь никакого, оставаться бессмысленно. А там я начну новую жизнь с помощью квалифицированного специалиста. Пиньоль крепко сжал мое колено и сказал:

– Мне будет тебя не хватать.

Для него я уже уехал. Ужас, до чего быстро люди ко всему привыкают.

Пиньоль встал и не оборачиваясь вышел. Шарик из резинки упал на пол и покатился мне под ноги.

Где-то рядом стучала пишущая машинка. Чуть погодя мне принесли расческу, чтобы я привел себя в порядок для, как они сказали, «предварительного собеседования». Расческа была такая грязная, что я причесался пальцами, да и какое это имело значение.

Наконец я предстал перед долгожданным гуманитарным атташе. Это был блондин лет тридцати пяти, бледный, с впалыми щеками и воспаленными красными глазами, не то чтобы урод, но какой-то недоделанный; поджатый рот выдавал в нем человека, считающего себя обиженным судьбой. На нем был слишком теплый для здешней погоды серый костюм, похоронный галстук и белая в зеленую полоску рубашка. Он сунул мне руку не глядя и представился:

– Жан-Пьер Шнейдер.

В ответ я только поздоровался – мое имя было указано в паспорте, а паспорт лежал прямо перед ним. Он предложил мне сесть, правда, стула в комнате не было, но это его не смутило. На столе была разложена карта Марокко, ее-то он и разглядывал.

– Где именно вы родились? – спросил атташе с таким видом, будто страшно торопился, хотя наш самолет отлетал только завтра.

Я заглянул в паспорт и прочитал вверх ногами название города, который Плас-Вандому заблагорассудилось сделать местом моего рождения:

– В Иргизе.

– Знаю, – говорит он, – это я и сам прочитал, только не могу найти. Где это?

Тут я заметил, что на карте лежит лупа, и понял, почему у него красные глаза. Он изучил все названия, но нужного не нашел. Я чуть не посоветовал ему обратиться к Плас-Вандому, но никакого Плас-Вандома более не существовало, я вычеркнул его из памяти, осталась только сломанная вилка. Да и потом наверняка он этот «Иргиз» взял из головы, чтобы нельзя было проверить по метрическим книгам. Каждые десять секунд атташе смотрел на часы, как будто после нашего разговора у него было назначено свидание. И судя по тому, как он поддерживал плечи пиджака, я понял, что это свидание с женщиной. Сам помню это лихорадочное напряжение всех мускулов перед встречей с Лилой на платформе в Ньюлоне, неизвестно же, в каком настроении она придет: то ли будет ворчать и дуться, то ли смеяться без причины – вот и пытаешься хоть как-нибудь успокоиться.

Атташе упрямо допытывался:

– Иргиз – это что: поселок, деревня?

Я подумал о женщине, которая где-то ждет его. Везет же! Даже если у них не все гладко – это было написано на его кислой физиономии, – все равно. Меня-то больше никто не ждал.

– Так где же это, я вас спрашиваю?

Я наугад ткнул в карту:

– Вот здесь.

– В Атласе? – В голосе его прозвучал ужас. – Вы уверены?

– Еще бы! – оскорбился я.

Смешно, но это вырвалось у меня само собой. Он произнес заветное слово «атлас», как будто прочитал его у меня в мозгу, для него оно имело совсем не тот смысл, а для меня стало той самой кувшинкой, которая затягивает на дно озера – так и меня засосало в его цветную карту. Много часов подряд я только о нем, о моем атласе «Легенды народов мира», и думал. Лила – конечно, ее я тоже потерял, но Лилу с таким же успехом будет обнимать в море под скалой кто-нибудь еще, а вот книжку мою загонят букинисту за двадцать франков, и никто никогда не будет относиться к ней так, как я.

– В какой области Атласа? – спросил гуманитарный атташе, еще раз нервно глянув на часы.

Его голос нарушил ход моих мыслей, и я ответил довольно резко: увидим на месте. Он не рассердился. А я только тут с удивлением сообразил, что как-никак, а он приставлен обслуживать меня.

– Видите ли, – принялся объяснять свою настойчивость атташе, – моя задача вполне определена и в то же время не совсем ясна для меня. Я должен препроводить вас по месту первоначального жительства, помочь вам снова пустить корни в родную почву, оказать содействие в устройстве на работу, походатайствовать перед местными властями... Но дело в том, что вообще-то я служу в пресс-центре Министерства иностранных дел и меня оторвали от моих обычных обязанностей и назначили на эту, только что учрежденную, должность. Я, можно сказать, еще только осваиваю ее, и мне очень жаль, если вам придется от этого страдать.

– Мне тоже, – сказал я.

Просто из вежливости. Я мало что понял из его объяснений, но почувствовал к нему симпатию: он вроде меня говорил одно, а думал о другом. У него был какой-то странный выговор, совершенно не вязавшийся с его официальным видом, – такой глухой, рубленый, согласные так и отскакивали, а гласные как будто зависали в горле. Позднее я узнал, что это лотарингский акцент, от которого, по его собственному мнению, он давно избавился.

Я стоял перед ним, заложив руки за спину, и пытался представить его даму сердца, просто так, чтобы не думать о предательнице Лиле – даже не пришла навестить меня! Атташе спросил Пиньоля, можно ли от них позвонить в Париж. Пиньоль же ледяным тоном, какого я за ним и не знал, уведомил его, что в связи с ограниченным бюджетом вызывать абонентов за пределами департамента запрещено, но если господин атташе напишет заявку с обоснованием, поставит дату и подпись и назовет нужный номер, он, Пиньоль, может заказать разговор. Атташе пробормотал, что это не важно и не срочно, хотя глаза его говорили об обратном, а пальцы нервно барабанили по столу. Он судорожно вздохнул, как будто захлопнул дверь, и снова склонился над картой Марокко:

– Так, значит, Атлас, но какой? Высокий, Средний или Сахарский?

Я выбрал наобум или, может, из гордости:

– Высокий.

– Но это же ни в какие ворота! – возмутился он, хлопнув ладонью по складке карты. – У меня билеты в Рабат, а это на другом конце страны!

– Это из-за макета, – сказал тип, который стоял рядом с ним. – Утром только один рейс – в Рабат, остальные слишком поздно, не успеешь дать в номер.

Сначала я не обратил внимания на этого рыжего в кепке, потому что он был с фотоаппаратом. А я каждый раз, как захожу к Пиньолю, натываюсь на фотографов из «Провансаль» и «Меридиональ», двух главных марсельских газет. У них разные политические направления, но общий хозяин, и драка идет по большей части из-за снимков: кто первый успеет на место происшествия, на задержание преступников. Но этот рыжий был явно не местным, он говорил на парижский манер, как по телевизору. Я смотрел на него с любопытством, и атташе представил мне его: Грег Тибодо из «Пари-матч». Я этот журнал иногда листал в поликлинике, когда ждал очереди к зубному.

– Ему поручено осветить этот сюжет, – со вздохом прибавил атташе.

Ого, видно, мое дело приобретало размах, недаром легавые стали вдруг такими вежливыми. Толстый полицейский с усами даже предложил мне сигарету, и я, хоть не курю, взял ее и попускал дым, чтобы не нарушать теплую дружескую обстановку.

– Какой сюжет? – спросил я.

Прежде чем ответить, атташе сдвинул очки на темя, прижав ими свои светлые, слегка волнистые волосы, на секунду закрыл лицо ладонями, а потом набрал побольше воздуха и выпалил единым духом:

– Франция считает своим долгом защищать права переселенцев, но, разумеется, только работающих и проживающих на законных основаниях, в отношении же остальных вроде вас решено отказаться от таких недостойных демократического государства мер, как применение грубой силы и высылка за пределы страны. Я говорю все это, чтобы внести полную ясность, вы меня понимаете?

– Конечно, – кивнул я.

– Так вот, не вдаваясь в детали, скажу, что правительство установило порядок действий, не только не ущемляющий ничье достоинство, но и нацеленный на положительные результаты, поскольку цель его – не выгнать вас с территории нашей страны, куда мы рады будем вас пригласить, если в том будет надобность, а приложить все силы, чтобы помочь вам убедиться, что в настоящее время вы нужны вашей стране, ибо единственное средство остановить эмиграцию из стран Магриба – это обеспечить вам будущее на родине, проводя в жизнь политику стимулирования не только в экономическом, но и в общегуманитарном плане, и...

Он осекся на полуслове, как будто в нем что-то сломалось. Отвернулся, проглотил слюну, шумно вздохнул и первый раз посмотрел мне в глаза:

– И поскольку в субботу передача «Марсель, арабский город» собрала тридцать процентов телезрителей, именно отсюда решено начать акцию! – В голосе его был вызов, как будто это все я виноват. – Я даже не успел ознакомиться с вашим досье! Даже не знаю, какая у вас специальность!

– Автомагнитолы, – машинально сказал я.

Минуту он смотрел на меня, стараясь подавить свой порыв, потом сделал извиняющийся жест в сторону карты Марокко и наконец выдал длинную тираду: что-то про точное приборостроение, аудиовизуальную технику и новые предприятия «Рено» в районе Касабланки. Я важно кивал головой. Впечатление было такое, что он сдает мне экзамен.

– И вы хотели бы совершенствоваться в этой узкой области техники или получить другую профессию, более соответствующую вашим возможностям? Если так, говорите смело: я уполномочен Министерством иностранных дел ходатайствовать о вас перед вашим правительством, чтобы облегчить все формальности.

– Свет готов, – вмешался фотограф.

– Угу, – отозвался атташе и нехотя встал из-за стола, подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Но тут же убрал – видно, счел, что это уж слишком, и просто остался стоять

рядом, заложив руки за спину, с застывшей улыбкой на лице. Фотограф велел мне смотреть не на атташе, а в объектив и тоже улыбаться.

– Но не во весь же рот!

Я притушил улыбку.

– Нет, улыбайся, улыбайся, только чуть-чуть и, если можешь, как бы удивленно.

Пожалуйста – я принял удивленный вид.

– Теперь поменьше удивления, побольше улыбки. Посердечнее! Но все же с легким беспокойством. Здорово! Замри! Вот так в самый раз – нет, зубы убери, так. . . Да-да, руку оставь, так естественнее. . . хорошо. . . И карту, карту. . . о'кей, месье, отлично, берете каргу и показываете ему какое-то место, а ты смотришь, что-то говоришь в ответ, классно, гениально! О'кей! Теперь еще разок на черно-белую, и все!

Фотограф трещал без умолку, прыгал вокруг нас. Все это придавало происходящему некоторую торжественность. Я вспомнил свою помолвку, банкет и последние снимки – наверное, получились грустноватыми. Наконец фотограф свернул свою технику, простился до завтра и ушел. Атташе сказал, что я могу перестать улыбаться, и прибавил с виноватыми нотками в голосе:

– Простите за все эти. . . издержки. . . но правительству важно сейчас. . . Понимаете? Можно мне звать вас Ахмедом?

Я сказал «пожалуйста», мне уже было все равно, но вмешался Пиньоль, его так и трясло от негодования, и резко возразил, что меня зовут Азиз. Атташе извинился за рассеянность: «Не понимаю, что со мной такое!» Я-то понимал, но мы были еще недостаточно знакомы, чтобы я мог спросить, как зовут женщину, которой заняты его мысли, и какая она из себя, – а жаль, меня бы это поддержало. Не знаю почему, но этот парень мне нравился. Может, под настроение пришлось. И потом, он был нездешний.

Прощаться со мной за руку он не стал, видно, решил, что хватит одного рукопожатия, зато произнес на неизвестном мне языке – должно быть, на моем родном – какое-то слово, наверное, «до свидания». Он вышел и закрыл дверь без особой поспешности, но я чувствовал, что он сильно запоздал, и желал, чтобы та женщина дождалась его звонка и все у них уладилось к завтрашнему дню, к нашему отлету.

– Какая мерзость! – прорычал Пиньоль, провожая меня в камеру.

– Что? – спросил я.

– Да все! Эта. . . комедия, эти снимки – все мерзко! По-твоему, нет?

Я сказал, что, по-моему, нет. По-моему, мерзость – история с кольцом. Все остальное вполне сносно.

– Но ты же не собираешься играть в эту дурацкую игру, Азиз? – Я не мог понять, почему он вдруг за какой-то час изменил мнение. Сам же советовал мне уезжать, вот я уезжаю – так в чем дело?

– Этот тип – полный кретин, ты что, не видишь? И ты хочешь, чтобы он нашел тебе в Марокко работу? Да он явился, чтобы покрасоваться перед фотоаппаратом, и все, он же полное ничтожество!

Интересное дело: я прекрасно понимал, что Пиньоль прав, и в то же время мне хотелось защитить моего атташе. Нас уже что-то связывало, меня и его, а Пиньоль здесь был ни при чем, может, от ревности он и бесился.

– А мне он нравится. Мы с ним вполнеладили.

– Да черт возьми, воспротивься хоть раз в жизни! Сделай что-нибудь!

Странно слышать, чтобы полицейский, пусть даже мой приятель, призывал воспротивиться закону, причем стоя по ту сторону решетки, которую сам же только что за мной закрыл.

– Знаешь, почему они решили вывозить именно тебя? Неужели все еще не понял? Из-за твоей смазливой физиономии, потому что ты фотогеничный, ясно? Фо-то-ге-ни-ч-ный!

Я не понимал, что его так злит. Это ведь скорее лестно для меня.

– Перестань, Азиз! Да меня тошнит от всего этого! Не знают, что сделать с безработицей, как задобрить общественное мнение, вот и придумали: взять одного араба и с помпой отправить его на родину, да при том еще вроде бы случайно этот араб больше смахивает на корсиканца, так что расизм не так бросается в глаза! Но если ты и сам доволен. . .

Сходство с корсиканцем несколько не задело бы мою «арабскую» гордость, но, по-моему, его нет и в помине; однако я промолчал – Пиньоль по матери корсиканец, и в его устах это было чем-то почетным.

– Ничего я не доволен, – сказал я, – просто мне плевать.

– Плевать? Это же сплошное лицемерие, вранье, кто-то делает себе рекламу, а ты отдуваешься – и тебе плевать?

Я смиренно пожал плечами. Пиньоль стал кричать, что я тряпка, но быстро выдохся – уж очень это напоминало споры и ссоры на футбольном поле в школьном дворе, когда мы оба были сопливыми пацанами и играли сначала за первый, второй и, наконец, за шестой «Б» класс – от года к году менялись только надписи на тетрадках. . . Все это в прошлом, и теперь уже окончательно, потому что на другой день я улетал.

– Ты классный парень, Азиз.

– Ты тоже.

– Мне жаль, что ты уезжаешь.

– Мне тоже.

На самом деле, может, уже и не очень. Пиньоль потупился, повернул ключ и протянул мне через решетку пакетик жевательной резинки. Но я не взял, только улыбнулся и помотал головой. Старый друг – это хорошо. С ним не так больно расставаться, как с любимой женщиной. Всегда есть надежда, что вы останетесь друзьями и новая дружба не сотрет в памяти старую.

Совсем под вечер все-таки явилась Лила вместе со своим братом Матео – я как увидел его, мне все стало ясно. Лила стояла, опустив глаза, а говорил один Матео. Он сообщил мне, что я дохлый пес с обочины – это у них такая манера ругаться, – что подарить цыганке краденое кольцо – неслыханный позор, что я оскорбил Святых Марий и что он всегда говорил, что я двуличный араб, поганый *гаджо* без чести и совести. А Лилу он привел только затем, чтобы она как следует поняла свою ошибку. Ей, как он сказал, повезло, что меня посадили, меньше срама будет, чем если бы я мозолил всем глаза, и пусть это будет ей хорошим уроком на будущее.

Я слушал его, а про себя думал, что они с Плас-Вандомом недурно на мне нажились: один оставит себе в возмещение ущерба дюжину лазерных плееров и сорок штук кассет, которые я ему дал, а другой снова продаст мое кольцо, да к тому же полиция будет им благодарна за то, что они поставили ей такой фотогеничный экземпляр.

Лила вышла вслед за братцем, так и не открыв рта. Понятно, что он ей запретил, но могла бы хоть взглядом со мной попрощаться, как-никак мы не один день знали друг друга. Сердце мое было разбито вдребезги. Поскорее бы уехать подальше; ради Бога, пусть возвращают меня туда, где я никогда не был, лишь бы началось что-то новое; а с Валлон-Флери и цыганами покончено раз и навсегда. Мне даже не терпелось увидеться с моим нервным атташе, он по крайней мере ничего против меня не имел и не сам меня выбирал. Мы с ним оба были жертвами, нас обоих посылали куда-то к черту на рога, и, если на этой неделе будет нехватка войн, убийств или скандалов с принцессами, нас поместят на обложке «Матч», но мне от этого ни холодно ни жарко, все равно некому вырезать и хранить мою рожу.

Матрас уже не так сильно вонял – то ли я привык, то ли мысленно был уже не здесь, – я быстро заснул, и мне приснилось, что самолет снижается над картинкой из моего атласа, и чем ниже он опускается, тем больше картинка похожа на реальность, садится же он на самую настоящую землю, а строчки легенд превращаются в длинные бараки аэропорта. И я говорю гуманитарному атташе: «Добро пожаловать в мою страну!» А он улыбается и кивает головой. Во сне он выглядел не таким нервным.

В девять часов утра мне принесли кофе с гренками, а потом отвезли в аэропорт. Гуманитарный атташе расхаживал взад-вперед у входа, по отгороженному барьерами пространству. Полицейские отгоняли от него зевак. Не успел я вылезти из машины, как он вцепился в меня и куда-то потянул – скорей, скорей! Уже на ходу спросил, где мои вещи. Я ответил, что все мое имущество растащили. Тогда он посоветовал мне зайти в магазин «Родье» и обновить гардероб. Я поблагодарил за внимание, но пояснил, что у меня ни гроша. Оказалось, однако, что все расходы берет на себя министерство, поэтому он дал мне три тысячи франков казенных денег и велел купить одежду на каждый день да поживее, потому что возникли некоторые осложнения – я уже догадывался, что с ним они будут возникать постоянно.

В примерочной я без малейшего сожаления снял свой белый костюм – он навевал неприятные воспоминания, да к тому же изрядно запачкался в камере – и переделся в новенький серенький костюмчик из чистого хлопка, подобрал к нему полосатую рубашку и галстук в тон. Атташе ждал меня у стеклянных дверей магазина, с ним рядом стоял еще какой-то тип в светло-бежевом костюме, по виду – важная шишка. Представитель префекта, сказал мой атташе. По тому, как они на меня посмотрели, я понял, что мой прикид чересчур шикарный, не годится для фотографий, но я же хотел, чтобы им было за меня не стыдно. Ну да ничего: «бежевый» сказал, что снимать не будут, из-за непредвиденных обстоятельств. И правда, в зале почему-то пахло рыбой, но поскольку я летел самолетом первый раз, то старался не выказывать удивления.

– Достали с этим портом! – прошипел представитель префекта.

– Мне надо позвонить, – сказал на это атташе. – Я быстро, на минутку.

Он попросил чиновника покараулить меня и побежал к автоматам. Между тем полицейские ставили ограждения, чтобы отделить пассажиров от пикетчиков, которых становилось все больше.

– Ма-ринь-ян с на-ми! – скандировали рабочие рыбоконсервных заводов. Они размахивали транспарантами и выливали на пол бидоны буйябеса.

– Южный порт будет жить! – ревел мегафон. :

– Подходящее вы выбрали времечко! – желчно заметил «бежевый».

Я ответил, что ничего не выбирал, и спросил, летают ли самолеты.

– Летают, летают! – раздраженно огрызнулся он и повернулся ко мне спиной.

В толпе появились телекамеры, которые полиция тут же огородила своими барьерчиками, я углядел там же фоторепортеров из «Провансаль» и «Меридиональ», они отпихивали друг друга локтями, общелкивая одну и ту же мишень: лидера докеров, который вырывал микрофон у девушки из справочного бюро. А рыжий фотограф из «Матч» улегся животом на регистрационную стойку и целился телеобъективом в полицейских с опущенным прозрачным забралом перед витринами магазинов, срочно прикрытыми железными шторками. Я понял, что больше не котируюсь, репортаж о том, как меня заботливо вышвыривают вон, будет замещен материалом о разбушевавшихся докерах, которые захватили аэровокзал в знак протеста против закрытия морского порта. Они были еще фотогеничнее, чем я.

– Не работают, – сказал Жан-Пьер Шнейдер, снова подхватывая меня под руку. – Там дальше будут еще, попробую оттуда.

Мы пошли к паспортному контролю. Со всех сторон орала мегафоны: «Пока есть порт, Марсель, ты горд!» Рабочие судоверфей пели хором гимн Южного порта, наступая сомкнутыми рядами под развернутыми транспарантами на шеренгу блюстителей порядка, а те ждали, пока уберутся журналисты.

В зале для отлетающих пассажиров было спокойнее. Я сел на металлическую скамейку, а

атташе снова побежал звонить. Песня докеров засела у меня в голове и продолжала звучать, как будто мысленно я был солидарен с ними: не отдадим наш порт! В то же время я не обольщался и прекрасно понимал: даже если порт спасут, для меня он больше не будет «нашим». Порой боль настигает, когда не ждешь. Я не плакал, оттого что потерял Лилу, а теперь вдруг защипало глаза, как только я вспомнил старые доки, застывшие портовые краны на фоне заката и стаи чаек над рейдом. Как знать, может, по ту сторону моря и чаек-то не будет?

Нас стали запускать порциями, в порядке посадочных номеров, в длинный коленчатый коридор, который вел на взлетное поле. Атташе так и не удалось дозвониться, и он шел, нервно помахивая чемоданчиком, я точно так же помахивал сумкой фирмы «Родье», в которую все-таки запаковал свой белый костюм – пусть лучше останется горькое воспоминание, чем никакого.

Я надеялся напоследок набрать полные легкие марсельского воздуха, пахнувшего горячим маслом, лавандой, чуть отдающего тухлыми яйцами – ими тянет с Берского озера, – но мы так и не вышли на летное поле, коридор впритык подходил к самолету. Может, это и к лучшему, зачем растягивать прощание! Уезжать так уезжать, нечего оглядываться.

И я переключил внимание на аэробус, тут все для меня было ново и интересно, хотя залезать пришлось почти как в полицейский фургон. «Ваш номер, проходите в салон, вот ваше место, курить запрещается». Стюардессы были старые, никаких тебе стройных ножек. Я был зажат в тесном пространстве: перед носом – спинка переднего сиденья, сзади – чужие коленки, упирающиеся в мое кресло. Это меня слегка разочаровало: в фильмах, например в «Эмманюэле», самолеты совсем не такие. Хотя, конечно, и полет у меня не развлекательный.

Едва усевшись, атташе вскочил, переступил через меня и сказал, что еще разок сбегает позвонить и сейчас вернется. Хорошо бы, потому что я как-то плохо себе представлял, что буду делать на родине без него. Чтобы отогнать эти мысли, я, пока его не было, поигрывал откидным столиком. Но тут подошла стюардесса, велела мне перестать и поднять спинку кресла на время взлета. На это кто-то с другого конца салона громко возразил, что она перепутала самолет – в этом кресла не откидываются, и вообще ему надоело это безобразие, вечно опоздания и никаких объяснений. Стюардесса в ответ потребовала, чтобы он не курил, а он ей посоветовал заткнуться, и другие пассажиры были за него, а она им сообщила, что она на работе – на работе, господа! – а они ей – что зато они на отдыхе и не желают, чтобы с ними обращались как с быдлом. Я подумал про себя, что летать самолетами «Эр Франс» не так уж и комфортно.

Атташе вернулся еще более возбужденный и расстроенный, чем прежде. Наверное, дозволил. С несчастным видом он сел на свое место и понурился, сжав зубы, потом вскинул голову и злобно велел мне смотреть в иллюминатор, потому что там интереснее. Из добрых чувств к нему я так и сделал, недоумевая, однако, чего ради он вдруг на меня напустился. Он же достал какую-то электронную игрушку, должно быть, она заменяла ему записную книжку, и, чтобы забыть о моем присутствии, углубился в изучение своего расписания день за днем в обратном порядке, на месяцы назад. Я мысленно торопил самолет, мне казалось, что моему спутнику будет полезно на некоторое время потерять почву под ногами.

Однако, когда мы наконец взлетели, мне стало жутко, хоть я не подал виду. Я, конечно, понимал: пилот знает свое дело, но отрываться от земли – как-то все же... а впрочем, инш'Алла! Воскликание вырвалось у меня само собой, словно сработал какой-то рефлекс, и на губах остался странный привкус. Вот что значит перемена климата.

Я стал внимательно изучать инструкцию на случай аварии, лишь бы не смотреть на панораму Марсея с птичьего полета. Мне совсем не нужно было этой картинке на прощание. Гораздо больше подходила к моему душевному состоянию акция в зале аэропорта; она прекрасно отражала все, что я испытывал: предательство и равнодушие окружающих, отказ от иллюзий и протест. Начнется или нет для меня новая жизнь, но со старой покончено – и то слава Богу!

Когда прозвучал музыкальный сигнал и погасли надписи, призывающие застегнуть ремни, снова появилась стюардесса, придерживая за веревочку накинутый на шею спущенный

спасательный круг. Жан-Пьер Шнейдер откинул столик. Я не решился сказать ему, что это запрещено и что стюардесса будет ругаться. В конце концов, гуманитарный атташе фигура поважнее, чем какая-то стюардесса. Он раскрыл мое досье и молча углубился в него. А я, чтобы не мешать ему, закрыл глаза, как будто сплю.

Когда я проснулся, мы летели в облаках, голос пилота объявил, что в Рабате ясно. Я взглянул на атташе: он покончил с моим досье и теперь крупным, решительным почерком писал письмо. Начиналось оно с обращения «Клементина». Имя необыкновенно красивое, но я оставил это замечание при себе – нехорошо соваться в чужие дела. Однако, поскольку он писал и зачеркивал, я позволил себе любопытствовать. Все равно он это выкинет, так что ничего страшного. Прочел я следующее:

«Клементина, я знаю, что ты (дальше зачеркнуто) и все же что-то во мне (опять зачеркнуто) и твой голос (зачеркнуто) оставь мне возможность (зачеркнуто) сказать тебе (зачеркнуто)».

Атташе поймал мой взгляд и быстро спрятал листок:

– Ну-ну, не стесняйтесь!

– Извините, – сказал я. – Я не читал, а просто смотрел.

– Смотрите лучше в окно!

Я уткнулся в иллюминатор и стал созерцать небо, но по звуку определил, что он рвет листок и поднимает столик. Глядя на облака, я пытался представить лицо этой его Клементины.

– Простите, Азиз, – сказал атташе. – Я сорвался.

Я промолчал, а он чуть погодя прибавил:

– Я развожусь с женой. Неприятно говорить об этом.

Ладно, не важно, сказал я, то есть, конечно, очень важно, но я понимаю, это дело личное. В утешение ему я хотел было рассказать про свою неудавшуюся помолвку, но не стал: он из другой среды, и наверняка его проблемы не имели с моими ничего общего.

– Ее зовут Клементина, – со вздохом сказал атташе.

Я изобразил удивление и восхитился: красивое имя, и ведь есть такие фрукты, клементины, они как раз растут в Марокко. В этом я был не совсем уверен, но надо же было что-нибудь сказать. Он вдруг ударил кулаком по подлокотнику между нашими сиденьями, да так сильно, что из него выскочила пепельница и выплюнула мне на колени окурочек. Как раз в это время мимо проходила сердитая стюардесса, я пояснил ей, что не курю: это просто из пепельницы вылетело.

– Не понимаю, просто не понимаю, что произошло и как вообще такое могло случиться! – Бедный атташе воздел руки, вопрошая переднее кресло.

Должно быть, он имел в виду свои отношения с Клементиной. А я подумал, что все происходит само собой и ничего нельзя поделать. Вот, например, я позавчера радостно сидел за стол, накрытый по случаю моего обручения, а сегодня, неповинно уличенный, наглядно выдворенный, лечу на фальшивую родину в сопровождении человека, не понимающего, почему его разлюбила жена. Нас свел друг с другом случай, однако мы были так похожи. Что-то в этом проглядывало утешительное.

Сидящая в ряду напротив пассажирка обнажила левую грудь, готовясь накормить младенца, и я остро ощутил тоску по Лиле. Лила была самой красивой девушкой из всех, кого я знал, не важно, что знал я только ее. Я явственно ощутил под ладонями ее грудь, словно мы опять обнимаемся в воде, у скалы, и мои руки скользят под ее купальник. Я быстро открыл глаза, чтобы прогнать это видение. Кормящая мать была хрупкой блондинкой, примерно такой должна быть Клементина, рядом сидел ее муж, араб. Он улыбнулся мне – наверное, решил, что у нас с ним есть что-то общее: мой Жан-Пьер Шнейдер такой же белокурый, как его красotka.

– У вас есть дети, господин атташе?

Он дернул плечом. По выражению его глаз и выпяченной губе я понял, что вид младенца

смущает его так же, как меня. Он достал сигарету, сосредоточенно оглядел ее и яростно затолкал назад в пачку. После чего резко повернулся ко мне и взорвался:

– Они что, думали, я закачу скандал, буду мешать им встречаться? Только не говорите, что они испугались! А я поступил просто: как только она сказала, что у нее кто-то есть, взял и ушел из дому! Собрал чемодан, взял свои бумаги и уехал в гостиницу. Вот и все! Что еще я мог сделать?

– Не знаю, – сокрушенно отозвался я.

– Ну да, я должен был бороться, ответить ударом на удар, нанять сыщика, вооружиться компрометирующими фотографиями, первым подать на развод, швырнуть Лупиаку в лицо заявление об уходе? Так?

Я ответил, что в жизни бывает всяко: иногда не успеваешь сообразить, что надо сделать, и потом есть ведь гордость.

– Лупиак – это ее любовник. Замдиректора пресс-службы министерства. Это он отослал меня в командировку, чтобы быть спокойным. Видите, я вам все рассказал.

Я поблагодарил за доверие. Странно, до чего мы были похожи и в одинаковом положении, с той только разницей, что он думал, будто мы направляемся в какое-то определенное место.

– Меня все это бесит, – тоскливо закончил он. – Ну ладно.

Он снова взял досье, на котором значилось мое имя, задом наперед, как в школе: Кемаль Азиз. И тут же мучительные воспоминания о теле Лилы вытеснились другими: я вспомнил школьные запахи – чернил, тетрадных обложек, – которые когда-то так любил. Атташе с наигранной бодростью – так, чтобы забыть о неприятностях, включают футбол по телевизору – произнес:

– Займемся-ка твоими делами, Азиз.

Он выговаривал мое имя непривычно коротко, сухо, отрывисто. Цыгане произносили его нараспев: «Ази-и-из». Марсель остался далеко позади. Интересно, как долго продержится у меня акцент?

– Извини, что пристал к тебе со своим нытьем.

– Не за что извиняться, – сказал я, – наоборот.

Мне было бы куда интереснее слушать его и воображать эту привыкшую к роскоши женщину, Клементину, теперь я видел ее совсем светлой, с короткой стрижкой – полная противоположность Лиле. Но представить себе весь их антураж я не мог – не хватало материала.

– А где вы живете, господин атташе?

– Можешь говорить мне «ты», как принято у тебя на родине, меня это нисколько не шокирует.

Зато меня шокировало, что он говорил мне «ты», но я промолчал. В те полгода, что я проучился в шестом классе, меня называли на «вы», и я с таким удовольствием вспоминал об этом! Однако очень скоро он снова перешел на «вы», так ему явно было удобнее. Но разрешил мне звать его не господином атташе, а господином Шнейдером или просто Жан-Пьером. А на мой вопрос ответил, что жил на бульваре Малерб, то есть там они жили с женой, но поскольку квартира принадлежит ей, то он оказался бездомным.

– В какой-то степени мы с вами в одинаковом положении, Азиз.

Тут он смолк, вероятно, обдумывая, в какой именно, я тоже молчал, чтобы не мешать его размышлениям. От этого человека пахло школой – приятный запах, напоминавший коллеж Эмиль-Оливье, где, что ни говори, моя жизнь надломилась в первый раз – когда пришлось бросить учебу. Теперь я как будто возвращался после каникул, длинных-длинных, в целых шесть лет.

Так прошла минута-другая. Потом он снова раскрыл мое досье, чтобы ознакомиться со всеми данными; непонятно, зачем оно ему было нужно, раз я сам, живьем, сидел с ним рядом. Он вздохнул:

– Да, но, оставляя в стороне мои личные проблемы и некоторые, так сказать, аналогии. . . я не одобряю подобных методов. То есть я не спорю, любая гуманитарная миссия достойна уважения, и я готов отнестись к ней серьезно, но эта поспешность. . . Во-первых, я долгое время занимался исключительно проблемой распространения французского языка и культуры во Вьетнаме, по заданию литературно-издательского отдела, – а потом еще удивляются, почему у нас, не примите на свой счет, постоянные провалы во внешней политике. Во-вторых, я переживаю душевный кризис, меня нельзя было никуда посылать, кроме того, безотносительно к моему состоянию – еще раз прошу прощения за то, что докучаю вам, – так вот, я все равно не могу устроить вас за два дня; если бы даже не вмешался Лупиак, вы же видите: все делается с бухты-барухты; всем командует пресса – ну, о вас я не говорю. . . Но мне даже не дали времени подготовиться. А я совсем не знаю Марокко.

Как, и он тоже? Хорошенькое начало.

– У вас есть фотография? – спросил я.

– Какая фотография?

– Фото госпожи Шнейдер. А я вам покажу карточку Лилы. Это моя невеста, она меня бросила.

Он вздернул бровь над очками, поколебался, но все-таки достал из бумажника маленькую, как для паспорта, фотографию, которая была засунута между кредитных карточек, и протянул мне ее, неохотно, как брезгливый человек дает попить из своей бутылки. Я взглянул и неприятно поразился, но не выдавать же разочарование: Клементина оказалась довольно противной, с холодными глазами, поджатым ртом, тяжелым подбородком и, главное, чернявой. Нет, ему нужна была блондинка, и я еще разок взглянул на молодую женщину напротив, но с другим чувством: она уже не служила мне моделью для неведомой Клементины – смешное имечко, все равно что Банана или Апельсина.

Блондинка перехватила мой взгляд. Я вежливо улыбнулся ей, она – мне, без всякой мысли, улыбка передалась ей рефлексивно, как зевота. Однако ее супруг счел, что довольно и этого, он забрал ребенка, чтобы подчеркнуть свои отцовские права, и велел жене спрятать грудь. Тогда я вытащил из кармана засунутого в сумку мятого белого костюма карточку Лилы. Атташе сказал, что она тоже очень красивая, и вернул мне фотографию, а я порвал ее. Подчиняясь какому-то чувству солидарности, медленно и глядя атташе прямо в глаза. Он смотрел на меня неуверенно, потом со слабой дрожащей улыбкой разорвал надвое Клементину; но я видел, что он сделал это только ради меня, потому что обе половинки аккуратно спрятал в карман.

Затем сказал строго покровительственно, как бы подчеркивая, что мы переходим к мужским делам:

– Ну, расскажите мне об Иргизе.

Я повторил этот приказ вопросительным тоном, чтобы хоть немного оттянуть ответ, но в самом деле, хоть мне и было приятнее обсуждать его дела, летели-то мы все-таки по моим. И тут на меня накатило. Может, потому что в голове все время мельтешили обрывки воспоминаний о коллеге Эмиль-Оливье: болтающиеся двери, размалеванные стены, драки класс на класс, шприцы по углам и посреди всего этого господин Жироди, уже немолодой и словно отгородившийся почтенной старостью от безобразия, в котором он очутился, точно пришелец из другого мира, – но я вдруг так живо вспомнил свой полученный на прощание атлас, что заговорил не думая. Сначала слова шли медленно и как бы с натугой, но постепенно я обрел уверенность. Это была легенда из двенадцатой главы о сероликих людях, которые жили

в недоступной долине, куда нет дороги и не проникла цивилизация, на зеленом райском острове с пышной доисторической растительностью, отгороженном от мира голыми каменистыми горами. Только эти горы и представали глазам путешественников, о райской долине они и не подозревали, ибо жители ее из поколения в поколение свято хранили тайну. Да никто из них оттуда и не выходил, не считая стражей, которые сбивали с пути экспедиции, чтобы не дать им обнаружить нас. В общем, я позаимствовал сказание о Firdaws al m'fkoud, потерянном рае, который открыл Магомет на пути в Медину, только моя неведомая долина называлась Иргиз, и я был первым из сероликих, кто вышел за ее пределы и приехал в Марсель.

Атташе слушал, и глаза его становились большими и круглыми как блюда.

– Но почему? – сиплым голосом спросил он, и я понял, что, будь он сероликим, он ни за что не покинул бы долину.

Я уцепился за первое пришедшее в голову объяснение:

– В горах прокладывают дорогу, взрывают скалы, и долину может завалить, вот я и отправился искать помощь.

Он даже не заметил стюардессу, которая предлагала ему апельсиновый сок. Та пожала плечами и пошла дальше. Я-то выпил бы с удовольствием, у меня пересохло в горле, но, может, сок давали только французским подданным, поскольку полет выполняла компания «Эр Франс». Закончил я тоном оскорбленного достоинства:

– Мир не заботит судьба Иргиза. Ничего удивительного, ведь о нем никто не знает. Только поэтому он и остался прекраснейшим местом на свете, но теперь его надо спасать.

– Почему же вы ничего не сказали тому репортеру из «Матч»? – воскликнул Жан-Пьер.

Я ответил, что это тайна и что я и так уже рассказал слишком много. Легенда из атласа на этом заканчивалась. Сам не знаю, почему я выбрал эту, а не другую. Можно было подобрать что-нибудь более практичное. Правда, она была на редкость захватывающая – на физиономию моего атташе стоило посмотреть.

– Так, значит... это туда я должен вас доставить?

В голосе его звучал ужас, смешанный с детским восторгом – мне это было приятно, потому что, когда мы с Лилой плескались в бухте, я, среди прочего, мечтал о том, как у нас – когда она овдовеет – будут дети и я буду рассказывать им свои любимые легенды, а они будут в них верить; все лучше, чем то образование, которое получали у нас другие дети: с десяти лет учиться обчищать карманы прохожих. От жизни не спрячешься, она все равно покажет себя такой, как есть, но чем позже, тем лучше.

– Пойдите, пойдите, – атташе судорожно оттянул узел галстука, – я что-то не понимаю. Почему вы отправились именно в Марсель? Вышли из вашей затерянной долины – и напрямик в Марсель?

Действительно, концы с концами сходились плохо. Но я тут же придумал: один из наших старейшин был знаком с профессором Марсельского университета господином Жироди, который знал, как избежать катастрофы, и меня послали уговорить его приехать к нам с отрядом спасателей.

– Но каким образом этот старейшина мог познакомиться с профессором, если он ни разу не выходил из долины? – спросил атташе.

Он начинал раздражать меня. К легенде не придираются, ее слушают, и все. Я упустил из виду, что для него это была подлинная история. Удивительно, как легко он мне поверил. Возможно, ставил себя на мое место и вообразить не мог, чтобы разумный человек, каким был он сам, зачем-то принялся сочинять небылицы, когда к нему специально приставили человека, который должен его устроить в определенном месте. Мне было выгодно использовать

министерский престиж атташе, чтобы пробить себе дорогу, и совершенно не было смысла морочить ему голову.

– Профессор прилетел на вертолете, – сказал я.

– На вертолете?

– Да, господин Жироди исследовал горы с вертолета и потерпел аварию над нашей долиной. Мы вылечили его с помощью чудодейственных трав, и он нам сказал: «Я профессор Марсельского университета, специалист по загадкам природы, и если вам что-нибудь понадобится, приходите ко мне, потому что я обязан вам жизнью». А когда улетал, поклялся никому о нас не рассказывать.

Я с удовольствием повысил статус господина Жироди, старого учителя географии, и превратил его в этакого Indiana Jones – он это вполне заслужил.

– Но теперь-то, – вскинулся атташе, – теперь, наоборот, надо, чтобы весь мир узнал о существовании сероликих, чтобы люди встали на их защиту и долина была спасена! Понимаете? Нет, это уму непостижимо! Ведь у нас под рукой был фотограф из «Матч», можно было взять его с собой, сделать сногшибательный репортаж, я представил бы вас борцом за экологию, за спасение долины Иргиз, а Франция, таким образом, оказала бы помощь Марокко в сохранении археологических ценностей. Но ничего, еще не поздно, можно успеть к следующему номеру, да еще я подключу телевидение. Там есть телефон?

– Где?

– В Иргизе?

Мне стало так смешно, что он с ходу освоился в моей легенде, так смешно, что я стал относиться к нему по-приятельски. И уже мысленно называл его просто Шнейдером, так же как старину Пиньоля, – что ж, это в порядке вещей, друзья меняются, как и все остальное в жизни: раньше я химичил с автомагнитолами и оказывал поддержку полицейскому; теперь летел в облаках в незнакомую страну, где вместо корней обзавелся легендой, и оказывал поддержку интеллигенту, который нуждался в сказке, чтобы забыть жену.

Отсмеявшись, я заметил, что мой атташе расстроен. Несмотря на кабинетный образ жизни и душевную травму, он сохранил чистое сердце, и ему было стыдно за свой заскок насчет телефона. Ведь я описал ему земной рай, где людей связывали самые подлинные чувства и где он, может быть, не потерял бы свою Клементину, если бы жил с ней в пещере у прозрачного ручья, отрезанный от мира. Я понимал его нравственные терзания: что лучше – спасти Иргиз, превратив его в курорт, или не нарушать первозданности долины, но допустить ее гибель?

Однажды я случайно видел один такой фильм. Мы с Лилой пришли смотреть «Терминатора» и ошиблись залом – там были такие запутанные ходы, – вместо своего попали в другой, длинный, похожий на подвал, где показывали документальный фильм про Рим. Оказалось так любопытно, что мы немножко задержались. Там был такой эпизод: прорывая тоннель метро, рабочие наткнулись под землей на пещеру с первобытной наскальной живописью. Они стояли ошарашенные и смотрели, а рисунки тем временем бледнели и исчезали под действием кислорода, который проник в пещеру. Вот и Жан-Пьер чувствовал себя виноватым за то зло, которое мог бы причинить моей долине, хотя еще не успел ее увидеть.

Я нажал на кнопку вентиляции над головой. С ума сойти, какой силой обладала легенда, стоило в нее искренне поверить. Мой атташе оказался не таким уж нерасторопным. Не прошло и часа, как он меня трудоустроил: определил в арабские сказители.

Жан-Пьер подтянул галстук – дуло слишком сильно. А когда я стал уменьшать напор, он, нахмурившись и сев вполоборота ко мне, сказал:

– Но, Азиз. . . Вы говорили, что делаете автомагнитолы. . .

– Не делаю, а ворую.

Это вырвалось у меня в каком-то безотчетном порыве искренности. И я тут же пожалел об этой оплошности, поскольку заметил, что моя откровенность ничуть не поколебала легенду об Иргизе, как я надеялся, а, наоборот, придала ей достоверности. Во мне воистину проснулся талант недюжинного сказочника. После минутного шока Шнейдер отмахнулся от моего признания, как от назойливой мухи:

– Это меня не касается. Знать не хочу, что там у вас было и чем вы занимались в Марселе; для меня все это не существует – я же не полицейский. Меня интересует только Иргиз. Ваше прошлое и ваше будущее.

Я снова уперся взглядом в блондинку напротив, она опять кормила грудью, и вид сосущего младенца вогнал меня в тоску. Вот она действительно, можно сказать, пестовала свое будущее, а я вынашивал сказку, причем выкидыш был неизбежен, как только мы высадимся в Марокко и Жан-Пьер спросит дорогу. Не могу же я его таскать целый месяц по стране в поисках мифической долины и навлекать на его голову насмешки местных жителей и недовольство начальства – деньги-то казенные! Лучше спустить все на тормозах. Улучить только подходящий момент.

– Я должен вам сказать, месье. . .

– Называйте меня Жан-Пьером.

– Должен вам сказать, Жан-Пьер. . . На самом деле господин Жироди просто учитель географии в коллеже Эмиль-Оливье.

– Вот оно что, – воскликнул Жан-Пьер с горячим сочувствием. – Значит, вы его отыскиали в Марселе и, когда оказалось, что никакой он не археолог и наврал вам с три короба, были вынуждены. . . ну, понятно, жить-то не на что. А возвращаться в Иргиз с пустыми руками не посмели.

– Никакого Иргиза нет на свете, месье Шнейдер.

– Да, конечно, понимаю: тайна, клятва. . . Разумеется, я уважаю ваши традиции, но надо же что-то делать. И мой долг – помочь вам.

Похоже, я здорово влип. Оставалось надеяться, что, как только мы приземлимся, он забудет злосчастную долину и побежит звонить жене, а я тем временем улизну и скроюсь где-нибудь в глуши, не разрушая его мечту; ей-богу, это был бы лучший выход для нас обоих. Моя участь, как говорится, была предрешена: я так и буду воровать магнитолы, только в другой стране, а он вернется в свое министерство и помирится с женой. Я видел, что своим рассказом пробил брешь в его модели мира, но не собирался уподобляться тем рабочим метро, которые уничтожили древние рисунки, обдав их свежим ветерком.

– Нет никакого Иргиза, – повторил я.

– А чем вы занимались там, у себя, до отъезда?

Чертов упрямец! Ну я взял да и выложил ему все чохом: что я природный марселец, что меня подобрали на дороге после аварии с «ситроеном» и отсюда мое имя, что долину сероликих я почерпнул из атласа, который мне подарил господин Жироди в тот день, когда я ушел из школы и стал промышлять на улице. Он слушал со скептической улыбкой, твердо уверенный, что правдой был тот, первый, рассказ про Иргиз. А когда я замолчал, повторил:

– Так чем вы там занимались?

В ответ я протяжно вздохнул. Не знаю уж, как он истолковал мое молчание, но почему-то оно его подбодрило, и он принялся гадать:

– Ремесленник. . . земледелец. . . пастух?

Я понял, что упорствовать бесполезно: чем больше я отпирался, тем прочнее становилась его убежденность. Раз уж он поверил в мою историю, любые попытки пойти на попятный только увеличивали притягательную силу тайны, которую я будто бы нечаянно выболтал.

– В Иргизе никто не работает, – обреченно сказал я. – Мы собираем фрукты, охотимся, воду берем из родника.

– Так-так. . . но поймите и простите меня. Я пристаю к вам с этими дурацкими вопросами, потому что мое поручение только тогда будет считаться выполненным, когда я привезу в Париж бумагу, подтверждающую, что вы нашли работу у себя на родине. Так что лично мне все равно: существует ваш Иргиз или не существует, спасут его или нет, ради Бога, как хотите, но что я скажу начальству? Положение безвыходное.

Возразить было нечего: действительно безвыходное, и, казалось, ему это доставляло какое-то особое удовольствие. Я зашел слишком далеко, но видеть его довольным, воскресшим, полным идей было очень приятно. Ладно, поживем – увидим.

Стюардесса разнесла всем пластмассовые подносы с корзиночками, в которых было что-то съедобное, похожее на разноцветную пену. Жан-Пьер открыл корзиночку с желтой массой и высыпал в нее содержимое пакетика, который достал из чемоданчика. Какой-то порошок, вроде опилок. Он заметил мое любопытство и объяснил, что это такое. Я плохо расслышал, кажется, «сушеные вибрионы». Жан-Пьер стал вытаскивать из бумажной упаковки вилку и ложку, а я откинулся к иллюминатору. Может, он готовится к химической войне и вырабатывает иммунитет, принимая каждый день по маленькой дозе бацилл.

– У меня избыток свободных радикалов, – продолжил он. – Мне, при моей депрессии, нужен селен. Хотите?

Это было предложено так радушно, что я, сам того не желая, сказал «да». Вот уж поистине: прежде чем судить о людях, нужно их как следует узнать. На борт лайнера со мной поднялся какой-то придурковатый чиновник, теперь же в нем обнаружился потенциальный спаситель народов и человек будущего, пожирающий вибрионы.

– Вот увидите, это восхитительно, и биологически сбалансирование. Селен в чистом виде.

Он открыл и мою желтую массу и посыпал ее своим порошком. А потом энергично, как преисполненный надежды больной, приступил к еде. Я вспомнил, что говорилось в моем атласе о египетских мумиях: они при жизни ели желуди, чтобы бальзамироваться заранее.

– А это вибрионы чего, какой болезни? – спросил я, с опаской глядя на него и не решаясь пустить в ход вилку.

– Что-что?

– Ну, это не опасно?

– Опасно? Почему? Конечно, нет. Это пшеница.

Слегка разочарованный, я стал есть. Жан-Пьер откупорил мою бутылочку вина, наполнил мой бокал и вдруг, извинившись, выпил сам. А мне дал свой стакан минеральной. Я поблагодарил. Ничего, я подожду, пока он выйдет в туалет, и попрошу у стюардессы еще вина. Не следует шокировать людей, открыто пренебрегая религиозными запретами.

Доев желтую корзиночку, он перешел к коричневой и с полным ртом подытожил:

– Дело обстоит очень просто. Надо, чтобы люди узнали об Иргизе, тогда Франция и ЮНЕСКО смогут выделить ассигнования для операции по спасению археологически заповедной зоны, но при этом надо, чтобы селение не изгадили туристы. Казалось бы, одно исключает другое, но выход, возможно, есть.

Тут он взял меня за плечо и, понизив голос, продолжал:

– Понимаешь, Азиз, у меня в жизни все не так. И уже давно, Клементина тут ни при чем. Это еще серьезнее. Именно по этой причине я женился на такой женщине, хотя знал, что она меня бросит. Я ведь тоже оторвался от родной почвы. Отрекся от среды, в которой вырос, от своих предков. И с тех пор начались мои несчастья.

Я кивнул. Что бы он о себе ни рассказал, мне все равно уже было его жалко; к тому же это отвлекало меня от моих собственных несчастий. И вот срывающимся голосом он поведал мне, что родился в Лотарингии, в Юканже, где был крупный литейный завод. Его отец и брат работали литейщиками, а он в семнадцать лет решил уйти из дома, но не просто так: в тайне от всех он написал роман о жизни своего отца и поехал в Париж, чтобы напечатать его. Но в столице никому не было дела до Лотарингии, и ему пришлось долго учиться, чтобы в конце концов стать рядовым служащим. Он недурно зарабатывал, посылал домой чеки, но так ни разу и не решился приехать в Лотарингию, потому что с книгой, которая должна была представить ее Парижу живой, ничего не получилось. А теперь отец состарился, литейный завод закрывали, лучший металлургический район Франции превращался в какую-то детскую площадку, и Клементина уходила к другому: она выходила замуж за будущего писателя, а он оказался неудачником.

Может быть, Иргиз был его последним шансом. Пусть Лотарингия никого не воодушевляла, зато здесь был сюжет для потрясающего романа. Но долина сероликих – это моя собственная Лотарингия. Что ж, он поставит себя на мое место, будет говорить от моего лица и сумеет все «транспонировать», выразить через мою судьбу то, что наболело у него самого. Книга и будет лучшим средством рассказать миру о долине Иргиз, не нарушая ее естественной гармонии. Жан-Пьер говорил, что верит в Бога, что не случай, а само Провидение свели наши пути, что роман начинается прямо здесь, в аэробусе, и это чудесно, и что, поскольку источник его вдохновения – моя жизнь, мы, разумеется, поделим авторские права пополам, идет?

Я молчал. Самолет шел на посадку и уже выпустил шасси. Может, было бы лучше, чтобы он разбился. Первый раз в жизни я почувствовал ответственность за другого человека. Если я, как собирался, слиняю и оставлю этого белобрысого очкарика в клетчатом костюмчике одного в стране, которая для него держится только на моей выдумке, он пропадет. При нынешнем его состоянии, если он убедится, что я все наврал и его миссия провалилась, он может запросто, несмотря ни на какие антидепрессивные вибрионы, покончить с собой.

А сияющий Жан-Пьер уже тряс мою руку:

– Это будет что-то фантастическое!

С этим я согласился.

Рабатская толпа ничем не отличалась от марсельской, разве что мундиры полицейских были другого цвета. У меня возникли трудности с паспортом – естественно, здесь липа оказалась более явной, чем во Франции. Я уже начал надеяться, что нас отошлют обратно и таким образом честь моего атташе не пострадает, а роман можно написать и в Париже, но Жан-Пьер достал из моего досье целую кипу бумаг с печатями, которые доказывали, что он официально уполномочен препроводить меня в Марокко, а раз его документы в порядке, то, значит, и мои тоже. Его слова подтверждал факс с гербом Королевства Марокко, предписывавший всем органам власти оказывать содействие его предьявителю. Мгновенно переменившись, полицейский сказал мне что-то по-арабски. В ответ я неопределенно улыбнулся, но, должно быть, не угадал тон его слов, потому что он посмотрел на меня с оскорбленным видом.

Атташе сразу потащил меня к телефонным кабинам. В этом полном марокканцев зале я чувствовал себя бездарно замаскированным: весь маскарад не стоил ломаного гроша, поскольку я не знал языка, а значит, был *ненастоящим*. Но чем, в конце концов, я виноват, что родился в Марселе.

– Нужен заголовок, – сказал Жан-Пьер.

– Что?

– Для нашей книги. Как она будет называться?

– *«Гуманитарный атташе»*, – предложил я.

Во-первых, я хотел проявить скромность, во-вторых, просто не знал, как обозначить себя в заголовке. Но Жан-Пьер сказал «нет» и, с блестящими глазами, торжественно воздев палец, произнес:

– *«Груз под охраной»*.

Он даже остановился, не дойдя до телефонов, чтобы распробовать, посмаковать это название, и три раза одобрительно потрянул головой.

– Это про меня, – пояснил он. – Ну то есть про вас, это же я и есть вы в романе. «Груз под охраной». Название отражает весь комизм, всю нелепость и парадоксальность ситуации. . .

Я тоже кивнул, но, по правде говоря, не знал, как к этому отнестись. Жан-Пьер попытался дозвониться Клементине и поделиться с ней радостной новостью, но было все время занято. Тогда он посмотрел на часы, на табло расписания полетов и спросил, как ближе добираться до Иргиза: через Марракеш или через Агадир. Я выбрал Агадир, чтобы оттянуть время – это был последний рейс.

Четыре часа мы просидели в аэропорту, в ресторане. Жан-Пьер то и дело бегал звонить, а в промежутках строчил как сумасшедший на обороте официальных бумаг из моего досье – лепил себе биографию из моей. Каждое мое слово превращалось в три страницы, обрастая его собственными переживаниями, и меня это как-то коробило. Выражаясь его языком, он «транспонировал». Он предложил мне перекусить, и я съел бриошь, а он взял себе тарелку кускуса с белыми от застывшего жира ломтиками мергеца и обильно полил все это гариссой, чтобы, как он сказал, «влезть в мою школу» и «окунуться в среду».

Я не знал, как выпутаться из этой истории. Смыться от Жан-Пьера, как я собирался сначала, теперь, когда он задумал написать по моей легенде книгу, было никак нельзя. Эта выдумка уже срослась со мной, стала слишком важной, чтобы я мог бросить ее на Жан-Пьера. Под его пером оживала часть меня самого. Атташе весь преобразился. Завороженный просящимися наружу словами, он то прерывался, смотрел на меня горящим взором, благодарил, то снова уходил в работу, что-то шептал, мучительно вздыхал. Я чувствовал себя так, будто зачал ребенка и теперь присутствовал при родах.

Наконец объявили наш рейс, Жан-Пьер сделал последнюю попытку дозвониться Клементине. И дозвонился. Вернулся он серьезный, печальный и вялый. Минутный разговор с этой особой погасил пламя, пылавшее целых четыре часа, пока он общался со мной. Хотя, с другой стороны, это давало мне передышку.

Самолет был поменьше, поплоче, чем первый, на креслах – чехлы в цветочек, зато стюардесса – помоложе. Столиков не было. Атташе закинул ногу на ногу, положил на колено лист бумаги и снова принялся писать и зачеркивать слова, сочиня послание жене. Я понял, что перестал существовать для него, даже в качестве груза, и закрыл глаза, чтобы помечтать о блондинке с обнаженной грудью, которая сидела напротив в прошлый раз, – мне ее не хватало. Может, попросить Жан-Пьера, чтобы он в своем романе устроил мне с ней любовную интригу? Допустим, муж бросит ее и заберет ребенка, а она, одинокая и несчастная, отправится с нами в Иргиз – иначе кто купит книгу, где нет героини. Дальше все будет развиваться как положено: двое друзей, одна женщина; ситуация непростая, тем более что она любит нас обоих, но это только укрепляет нашу дружбу, а кончится тем, что в последней главе меня, уснувшего у иллюминатора, уносит самолет, а Жан-Пьер лежит, заняв место младенца у груди блондинки, на берегу прозрачного ручья, под сенью платанов и раскидистых сосен, перед освещенным солнечными бликами гротом, стены которого покрыты рисунками, начертанными миллионы лет тому назад сероликими жителями долины Иргиз.

Гостиница торчит над городом огромной штуковиной в современном стиле вроде марсельского «Софителя». Здесь кишат потные французы с одышкой: во-первых, жарко, а во-вторых – в рекламных проспектах все вообще выглядело привлекательнее, чем оказалось. Мой атташе записывает нас в книгу посетителей, просит соединить его с Парижем, сует мне ключ от моей комнаты и во весь дух бросается в свой номер.

Я упираюсь взглядом в затворившуюся за ним дверь лифта. Сам себе я кажусь странным расплывчатым героем из какой-то книги, безразличным всем, даже автору, который все тянет историю о нем и никак не удосужится поставить точку. Марокканец-рассыльный по-французски предложил отнести в номер мой полиэтиленовый пакет, но я смутился еще больше, чем в тот раз, когда полицейский в Рабате заговорил со мной по-арабски, отрицательно замотал головой, быстро поднялся в свою комнату и заперся там.

Комната – семь метров на шесть: сам промерил ее шагами. В первый раз у меня свой гостиничный номер – для начала уже неплохо. Я покрутил ручки телевизора, краны, пощупал маленькие брусочки туалетного мыла, какую-то замысловатую фигню, похожую на машинку для мытья собак, наконец сообразил, что ею чистят ботинки, а затем мне стало скучно.

Некоторое время я проболтался на террасе, глаза на море, песок, луну, звезды, лепную балюстраду, плитки пола. . . Пахло чем-то непонятным, хотя совсем не противным, воздух был легким, даже, пожалуй, слишком: не доставало машин и было непривычно тихо. Я говорил себе: «Быть может, я на земле моих предков». Впрочем, не сказал бы, чтобы меня это сильно волновало. Главное: была комната под номером 418 и в ней тип, ломавший голову над моей историей. Забавно, что и меня занимала его Лотарингия, семья, заводик, я не слишком представлял себе, что такое на самом деле литейный завод, по крайней мере мне бы не хотелось, чтобы он выглядел как парк аттракционов для недоразвитых. Я бы с удовольствием послушал его рассказы о Лотарингии, даже если бы они и не вошли потом в книгу. Я тоже был бы не прочь что-нибудь «транспонировать» – хоть на бумагу, хоть куда еще. . . подделать себе детство по его образцу, тем более что моего собственного отныне не существовало.

Я принял душ, переоделся, снова повязал узел галстука и отправился в 418-й номер. Постучал я не сразу, так как не хотел ему мешать: он как раз говорил кому-то, что не ему самому взбрело смотаться на Юг, что идея принадлежит Лупиаку. Нет, он отправился с этим магрибским парнем, чтобы бежать от ответственности, а потому, дескать, любовь моя (это он так говорил), она должна понять, как он ее любит, его жизнь без нее – пустыня и что, говорят, вулкан, что давно погас, из остывших ран бьет огнем подчас*, и что, наконец, все сплошной бардак, гадость и дерьмо.

После этих слов за дверью стало тихо. Но он снова затыкнул с того места, где вулкан бьет огнем, и я понял, что он говорит в автоответчик, который прервал его тираду. Поскольку показалась какая-то девица с тележкой на колесиках, я нагнулся, делая вид, что завязываю шнурки. Он же повторял, что не по своей воле влип в это дурацкое дело, а я, сидя на корточках под дверью, чувствовал себя виноватым, что его вынудили связаться со мной, вместо того чтобы мирно улаживать семейные дела, раз для него это так важно. Когда я выпрямился, он, однако, добавил, что все еще пойдет на лад и он, мол, уже начал работать над книгой. Ему снова стало казаться, что старый вулкан в нем проснулся от спячки, он еще не весь порох растратил и завоюет ее, «вспомни, Клементина, как я читал тебе рукопись в том ресторанчике. . . »

Дождавшись следующей паузы при переключении автоответчика, я помедлил еще секунд тридцать и постучал. Он крикнул: «Войдите!» – я просунул в дверь голову и предупредил,

*Цитата из песни Ж. Бреля «Лишь не уходи». (Перев. Г. Русакова.)

что пойду прогуляюсь, и пусть-де он не беспокоится. Между нами говоря, если бы я вздумал смяться, всю ответственность возложили бы на него. По крайней мере я так полагал.

Он обернулся ко мне, но его взгляд блуждал где-то далеко. Он стоял в полосатой пижаме, с всклокоченными волосами и походил на ювелира под прицелом грабителя.

– Так я пройдушь немного.

Он промямлил: «Да-да, хорошо...» И вдруг кинулся к дорожной карте, разложенной на мини-баре.

– По какому маршруту мы двинемся завтра?

Меня несколько утешило, что он все еще помнит о моей долине, несмотря на все потухшие и проснувшиеся вулканы, и я упер палец в то место Высокого Атласа, где ничего не было написано. Казалось даже странным, что приходилось делать какое-то усилие, чтобы напомнить себе, что Иргиз – всего лишь плод моего воображения.

– А как мы туда попадем?

Поскольку я молчал, он видеоизменил вопрос, желая уточнить, каким видом транспорта я воспользовался, когда покидал родные места. Я ответил, что отправился на осле и потратил недели три на путь до города; это показалось мне одновременно вполне вероятным и совершенно не поддающимся проверке. Он печально поглядел на меня, представив себе, сколько тягот я перенес, чтобы в конце концов оказаться ни с чем, и на губах его появилось какое-то подобие улыбки, потому что чужое горе, когда страдаешь сам, хоть немного, а утешает. Он хлопнул меня по спине, чтобы подбодрить, и его голос вдруг зазвенел и обрел решительность:

– Так. Отъезд в восемь часов! Пожалуй, я возьму напрокат в агентстве Герца джип, вездеход или «лендровер», идет? Интересно, какую машину мы можем себе позволить?

Я посоветовал ему модель с откидными столиками, чтобы можно было писать по пути, он положил руку мне на плечо и взглядом поблагодарил меня. Я вышел, а он снова бросился к телефону. Но перед тем как снять трубку, посоветовал мне далеко не уходить и быть повнимательней. Может, для человека, у которого были родители, такие слова – дело скучное и житейское, но я-то их слышал впервые.

Я вышел к бассейну глотнуть свежего воздуха. Сперва мне там понравилось, поскольку все было хорошо прибрано на ночь: стулья в углу поставлены друг на дружку, купальные матрасы сложены горкой; затем я разглядел несколько влюбленных парочек под деревьями и ретировался в холл. Там я сел и стал изучать рекламные проспекты о Марокко, их была целая куча, но сперва ничего не удавалось запомнить. Местный колорит, народные костюмы, жилища, страна контрастов – все это не для меня: я-то приехал не на экскурсию. Я не узнавал Иргиз ни на одной из панорамных фотографий туристических прогулок; укрытая от глаз долина, придуманная мной, смущала и угнетала меня тем больше, чем меньше я понимал, куда ее пристроить: к вечным снегам или в пески пустыни, среди раскаленных камней или в прохладе оазиса. Она отступала, как мираж на горизонте. Я отпихнул от себя каталоги и вышел.

Перед гостиницей служители из камеры хранения о чем-то с жаром болтали, но когда я проходил мимо, стали говорить тише, поглядывая на меня с явной подозрительностью: я в своем костюмчике, от которого так и разило Францией, был из другого мира, турист и не более того.

От отеля к городу тянулось длинное прямое шоссе с ветхим бетоном разделительной полосы, осыпавшимся кучками гальки, проросшими пожухлой травой. Я долго шел по нему, заложив руки за спину. Меня обгоняли микроавтобусы, отправлявшиеся в Медину на ужин. Я знал, что «медина» означает «центр города», что рынок здесь называют «сук», а еще, что ислам запрещает пиво и свиную колбасу. Впрочем, есть пока не хотелось – просто идти

куда-нибудь, вот и все.

Улочки на моем пути становились все оживленнее, с распахнутыми окнами в каждом доме, из которых звучала музыка, с цветными лампочками на ветвях деревьев и собратями по бывшему моему ремеслу, продававшими на тротуаре приемники, ковры, майки, бижутерию и сувениры. Клиенты из автобусов вяло торговались, жуя пропитанные жиром пирожные и печенье. Поскольку мне нечего было продать, я ни для кого как бы и не существовал.

Меня охватила тоска, ощущение полного одиночества среди всех этих людей, говоривших на другом французском, без моего марсельского акцента. Впервые в жизни я почувствовал себя иммигрантом. И чтобы не скиснуть окончательно, я стал представлять себе, как одинок настоящий араб, когда очутится во Франции, особенно ежели в обход закона. Мне-то не Бог весть как, но повезло: у меня есть гуманитарный атташе, мой телохранитель с королевской охранной грамотой, чтобы никто ко мне не цеплялся. Довольно-таки славный парень, не забывавший обо мне, несмотря на собственные проблемы, помнивший, что нужно снять номер в отеле, взять напрокат машину, и притом не требовавший от меня ничего, кроме лоскута моей собственной мечты, чтобы не чувствовать себя совсем покинутым. Одновременно я походил на того потерявшего память типа из многосерийного фильма: я бродил по родным местам, не припоминая ничего, а при всем том в глубине души ощущая какое-то волнение. А встречные прохожие толкали меня, не замечая, потому что для них я был только частью пейзажа. О таком можно написать в романе, знатный вышел бы кусок. В конце концов, Жан-Пьер послал меня на рынок для того, чтобы я принес ему свои впечатления, описания, в которых не было бы фальши, местные запахи, колорит, а кроме того – внутренние переживания, так сказать, состояния души.

Я запихнул в свою память две-три приметные местные черточки, запахи из харчевен, цвет домов, высоту деревьев и марки автомашин. И направился назад, весь поглощенный приобретенными знаниями, все по тому же прямому как стрела шоссе.

Перед отелем стояли два магазинчика, где продавалось все то же, что и в городе, но с расчетом на более тугие кошельки. Как раз подъехал автобус с грязными стеклами, измотанными пассажирами, чемоданами в багажнике, которые нужно разнести по номерам, и всякими проблемами, неизбежными при каждом прибытии. По виду что-то вроде экспресс-тура «Весь Магриб за неделю», потому что каждый хотел заполучить сувениры перед тем, как отправиться спать, и все галдели, что завтра утром лавочки окажутся закрытыми. Девица-гид обещала им, что нет, но ее никто не слушал. К тому же они все поголовно желали пойти в тот магазинчик, что справа, поскольку там сумки «Виттон» продаются дешевле и притом со скидкой; напрасно сопровождающая девица твердила, что, поскольку они на попечении фирмы «Марокко-тур», им продадут за ту же цену в левой лавчонке, – они все бросились в правую, чтобы обделать свои делишки в обход «Марокко-тур», где, понятно, только и норвят погреть руки за их счет.

Тут прибыл автобус другой фирмы – «Оазис-трэвел», у которой был контракт с правым магазином; люди из «Оазиса» стали исходить пеной, решив, что те, первые, расхватывают их сумки. Их гид вступил в переговоры с девицей от «Марокко», пытавшейся вытурить своих подопечных из магазина направо, божась, что в другом *такие же* сумки за *такую же* цену, но те не желали ничего знать и кричали, что они – свободные люди, протряслись на собственных задницах добрых шесть сотен километров, а потому и не подумают слушаться чьих бы то ни было приказов, а что до этих из «Оазиса», так они могут и подождать своей очереди.

Видя, что девица-гид начинает психовать, они образовали две группы сопротивления: первая вопила нечленораздельное «Гы-ы-ы-ы-ы-ы!»; а вторая скандировала, словно на демонстрации: «Ги-да до-лой! Ги-да до-лой!» И тут у нее вовсе сдали нервы, она как заорет:

– Да имела я вас всех с прибором!

Надо же! Я тотчас сказал самому себе: вот была бы хорошая женушка для Жан-Пьера. Лет двадцати на вид, в джинсах с латками на довольно круглом и приятном на взгляд заду, в тенниске от «Марокко-тур», откуда выглядывал пляжный лифчик того же цвета, грудки ничего себе, волосы кое-как обрезаны, грязные от пота и пыли, скорее всего натурального льняного цвета (впрочем, под неоновыми огнями все естественное выглядит поддельным), солнечные очки торчат в волосах прямо на макушке.

– Эй вы, банда извращенцев, покупайте где угодно ваши дерьмовые шмотки и уматывайте восвояси! Мне обрыдли ваши морды, вы все равно не видите ничего красивого, сколько ни старайся, а только пялитесь, как бараны, осинового поленья, тыквы огородные! И с вашим занюханым автобусом разбирайтесь сами, а с меня довольно!

И она бросилась в отель под радостные восклицания туристов из «Оазис-трэвел», довольных, что людей из «Марокко-тур» так приложили, и щелкавших фотоаппаратами, целясь в ошарашенные физиономии соперников (на память об Агадире, будет о чем порассказать!), в то время как женщины из «Марокко» орали, требуя уполномоченного от компании, какой-то тугоухий тип все еще продолжал скандировать: «Гида до-лой!» – а кое-кто под шумок умыкал целые упаковки сумок «Виттон» по полтора десятка штук в каждой.

Девицу-гида я обнаружил в гостиничном баре с белеными стенами, расписанном «под минарет», с гигантскими опакалами и плетеными табуретами. Она заказала виски и, усевшись бочком на табурет, уперев локти в стойку, одним глотком опорожнила стакан. Я подсел рядом и велел гарсону повторить для нее виски и налить мне кока-колы. Она ничего не сказала, даже не повернула головы. Ладонями она зажимала уши, чтобы не слышать постороннего шума, у нее был длинный, чуть вздернутый носик, крутой лоб и тонкие губы. Не слишком обходительна, за это можно ручаться, но свое дело знает круто. О моем существовании она

заподозрила, когда перед ней появился полный стакан, а я сказал бармену, что это мое виски. Она отодвинула виски в мою сторону, но я прибавил, что меня плохо поняли: виски ей, а плачу я – вот что я имел в виду. А затем я стал шарить в карманах и обнаружил, что не имею при себе ни монеты. Она понаблюдала за моими телодвижениями и посоветовала оставить попытки выучить французский.

– Барака Алла фик! – с этими словами она подняла стакан. – Тех чурбанов я послала, так что же мне теперь делать?

Она спрашивала это у змеи, обвившейся вокруг пальмы, вытатуированной на ее предплечье. Потом заплатила за два виски, мою кока-колу и ушла.

Я нагнал ее в холле, чтобы узнать, свободна ли она. И снова я выразился так, что меня не поняли: она презрительно оглядела меня с ног до головы и спросила, неужто я мог принять ее за шлюху. А, значит, нет? Тогда чао! Я был задет и уточнил:

– Да я не о том.

– Ну и отстань.

– Я, конечно, люблю девушек, но это вовсе не причина, чтобы из меня вить веревки. И потом я – не от фирмы «Марокко». – Вот что я ей сказал, крепко взяв ее за локти и развернув лицом к себе. И уточнил, что мой друг и я, мы нуждаемся в гиде, притом мы отнюдь не бараны, сумки «Виттон» нас не интересуют вовсе, мы – путешествующие писатели, направляемся в сторону Высокого Атласа, имеем средства оплатить машину и персонального проводника, я выбрал ее, так каков ее тариф? Конечно, если она не предпочитает вернуться к толпе, которая не прочь ее линчевать. И вправду шум за дверьми нарастал: только что в холл принесли двух сильно помятых женщин, по всей видимости, подравшихся во время перепалки между автобусами, и управляющий отеля уже спешил туда выяснять, что стряслось.

– У тебя какой номер? – спросила девица.

Я не смог вспомнить и спросил у дежурного; тот поглядел в книгу записей и положил передо мной ключ. Она тотчас зажала его в кулачок и направилась к лифту. Ее наглость меня несколько обескуражила, но я послушно потопал следом. Дверь лифта захлопнулась за нами как раз тогда, когда раздались чьи-то разъяренные голоса, вопрошавшие, куда подевалась гид фирмы «Марокко-тур».

Пока лифт поднимался, мы стояли неподвижно и смотрели в разные стороны. На пятом этаже она осведомилась, не стеснит ли меня, если я дам ей приют на ночь. Я ответил, что нет. На это она заметила, что в таком случае я мог бы выказать больше энтузиазма.

Телефон зазвонил, едва я переступил порог своей комнаты. Управляющий гостиницы желал поговорить с гидом. Я сообщил ему, что это невозможно: девушка реквизирована представителем французского правительства для выполнения официальной миссии; все детали будут ему сообщены утром господином Шнейдером, гуманитарным атташе, у которого на руках охранная грамота самого короля Хусейна, а теперь совсем не время нас беспокоить. Я бросил трубку, не дослушав его, и подобное нахальство меня самого удивило. Потрясающе, как это быстро приходит – уверенность в себе. Стоит только получить хоть немного власти.

– Хусейн, господин литератор, это в Иордании. А здешнего короля зовут Хасан. Тем не менее спасибо.

Ее голос был мягок, она чуть насмешливо тянула слова. Когда она начала стаскивать с себя тенниску, я сказал, что это необязательно, потому что у меня есть своя гордость. Я вполне мог оставить ее здесь, не затаскивая в кровать, и к тому же я уже предупредил, что отнюдь не считаю ее потаскухой. Она снова натянула тенниску, и я опять, похоже, попал впросак. «Да нет, все в порядке», – пробормотал я. Уж в который раз я, наверное, не так выразился. Она ответила довольно резко, что ей начхать на собственное тело, она никогда ничего не

чувствует, так что я могу им располагать, если мне хочется попытать удачи, ведь все парни немного сдвинуты на женщинах, которые не получают удовольствия, и лезут из кожи, словно боятся упустить большой куш. Как можно достойнее я отвечал, что прежде всего я обручен, даже если... Впрочем, в конце концов, это мои проблемы... и потом, не моя вина, что она такая, а говорить со мной можно бы и в другом тоне. Она извинилась и сослалась на то, что слишком вздрючена. Я заметил, что нервы есть и у меня. Тут она снова стянула свою майку со словами, что по меньшей мере это нас успокоит, а с таким доводом согласился и я.

Когда ее бордовые джинсы и все прочее спустились к щиколоткам, я подумал: если она не любит заниматься любовью, то только зря портит такой стоящий товар. Она красовалась на паласе нагишом, а я старался открыть мини-бар, чтобы малость взбодриться. Наконец, воспользовавшись связкой ключей как фомкой, я успешно взломал дверцу и начал готовить коктейль собственного изобретения. Лежа поперек кровати с сигаретой в зубах, она наблюдала, как я смешиваю напитки из миниатюрных бутылочек. Обратив мое внимание на то, что обычный способ использовать ключ – вставить его в замочную скважину, она затем не без надежды в голосе спросила, не страдаю ли я случайно бессилием. Я же был просто слишком заморожен историями с Жан-Полем и Иргизом. И к тому же, ежели я сначала займусь любовью с этой девчонкой, мне, как я себе представлял, потом будет легче ей все объяснить.

Когда я разделся и перевернул ее к себе спиной, она забормотала, что нет, так не надо, мы же еще не слишком знаем друг друга, а я отвечал, что именно поэтому я и желаю явить к ней уважение как к незамужней девушке. Но тут мне стукнуло в голову, что она-то не цыганка, и я плюхнулся ей на живот, и видел ее глаза, и это было тоже хорошо, несмотря на то что она вежливенько поглядывала на меня, ожидая, пока я уймусь. Надо сказать, чувствуешь себя при этом довольно странно. Я уж пускался во все тяжкие, елозил, как мог, перемежал нежности с грубостью, но можно было бы подумать, что я мою ее машину, а она терпеливо переживает, посматривая на меня через лобовое стекло.

- Если вам угодно, я могу и прекратить.
- Ничего, это меня не беспокоит.
- А меня вот как раз напротив.
- Ну, если мы будем продолжать хамить, то не стоило и начинать.
- Но начал-то не я первый или как?
- А что за книжку вы пишете?

Мне захотелось выказать свое мужское превосходство классным уколом шпаги. Она же лишь хмыкнула, что это не ответ. Тогда я сказал ей, что это разные истории о жизни человека. Это ее немножко смутило, и я смог без помех заняться собственным удовольствием, думая о Лиле: она-то вкладывала столько жара в это занятие, что теперь у меня даже выступили слезы и закапали на грудь блондинки.

- Ты что, плачешь или это пот?

Я не ответил. Проглотил свои дурацкие слезы о потерянном прошлом, которое, пусть теперь я изо всех сил и стараюсь о нем забыть, все же принесло мне немало счастья. В некотором смысле я был доволен, что топлю Лилу в теле этой совершенно бесчувственной девицы. Такова плата за то, что меня предали. Я спрашивал себя: неужели мне по гроб жизни суждено остаться таким сентиментальным? Но тут моя красавица вскрикнула: дело в том, что, перепахиваясь с ней, я затолкал ее к самому изголовью, и она стукнулась головой о стену. Оттуда раздался голос сонного соседа-постояльца: «Войдите!»

Тут мы оба разом зашлись от хохота, и сам не пойму, что дальше произошло: может быть, что-то там у нее в нутре содрогнулось или сдвинулось, но голову могу прозакладывать – мы оба разом вознеслись на небеса. Обхватив друг дружку за бока, мы катались по простыням,

обоим стало как-то сладко не по себе, было трудно дышать, но главное – все перегородки между нами обрушились, и мы посмотрели друг на друга, как старые приятели. Получилось даже лучше, чем когда просто любишь, и совершенно по-новому: два чужака, двое отверженных, на которых всем наплевать, обрели друг друга, и я был горд, что смогу увезти ее в Иргиз.

– Поганец, – улыбнулась она. – Это какое-то жульничество.

Я прошептал, что меня зовут Азиз, чтобы не упустить минуты моего скромного триумфа. Она расщедрилась, заметив, что так даже неплохо, и я по чести должен был бы принять ее слова за комплимент, а потому тотчас сказал «спасибо» и что в следующий раз будет еще лучше. Ну нет, следующего раза не случится (это уже она сказала), таков ее принцип: единственный способ иметь нормальные отношения с мужчинами – тотчас ложиться с ними в постель. Так они получают, что им нужно, и можно перейти к другим делам, например к разговору. Меня задело за живое, но я не показал виду. Наверняка она – девушка с высшим образованием. О чем я и осведомился. Ну да, она дипломированный специалист по массе таких вещей, о которых я даже не знал, как они называются. Имело смысл переменить тему.

– Почему ты наколола себе дерево?

Она едко обронила, что это меня не касается, мол, дела семейные. Настаивать я не стал. Идя за ней в ванную, я спросил, как ее зовут.

– Валери.

Куда ни шло. Даже лучше, нормальнее, чем Клементина.

– Валери, а дальше?

– Д'Армере.

– Валери, мне надо с тобой поговорить.

Дальше мы замолчали. Она смотрела на меня, опершись на раковину. Поскольку я все не решался, она выпроводила меня из ванной, и я отправился пить мой фирменный коктейль, который на вкус оказался еще хуже, чем американская бурда из кафе «Маршелли». Через дверь она резко спросила:

– Как там твое давешнее предложение?.. Что-то серьезное или только предлог покататься на мне верхом?

Я прокричал ей, что она действительно тронутая и что в жизни приходится заниматься не одной только любовью. Она открыла мне дверь, буркнула, что я милашка, и я плюхнулся вместе с ней в ванну.

– Тебе известны работы Конрада Лоренца о гусях?

Конечно, я усек, что дело здесь вовсе не в гусяной печенке, но на всякий случай промямлил что-то невразумительное.

– Я пишу диссер по социологии. О групповой агрессивности. Работа гида позволяет платить за курс и подбрасывает материал. И потом, ежу понятно: коли хочешь зацепиться в Марокко, выбор профессий совсем невелик. Пены прибавить?

– Угу. А почему не вернешься во Францию?

– Я отсюда родом. Впрочем, не о том речь. К тому же у меня нет выбора. Но все путем, не бери в голову, с моими гусями я совсем неплохо устроилась. Обычно я никогда не даю промашки. Так что сегодняшний случай – это что-то новенькое.

Я кивнул. Для меня тоже в новинку прохлаждаться вдвоем в мыльной пене после постельной баталии и вот так дружески болтать. По-своему совсем неплохо. Я не позволял себе ее приласкать, чтобы чего-нибудь не испортить. Уперев голову мне в грудь, так что мой нос оказался в ее шевелюре, рассеянно закручивая кончиком пальца волоски у меня на лодыжке,

она выслушала всю мою повесть: похищение из горячей машины, Валлон-Флери, арест в кафе «Маршелли», изгнание из страны, оказавшееся на руку «Пари-матч», жена гуманитарного атташе, требующая развода. А закончил я собственной легендой, придуманной в самолете. За все время она не произнесла ни слова. Я трижды замолкал, проверяя, не спит ли, но каждый раз меня дергали за волосок, чтобы продолжал.

В конце моей исповеди я с комом у горла спросил, согласна ли она сыграть роль в моей комедии с Жан-Пьером. Ответила не сразу. Что-то чертила большим пальцем ноги на запотевших кафельных плитках. Попросила в точности повторить то описание Иргиза, что пришло мне на язык в самолетном кресле компании «Эр Франс».

Я закрыл глаза, чтобы припомнить точные слова: о долине, пещере, освещенной отблесками горных ледников, волшебном источнике и новой автостраде, угрожающей нарушить сокровенную тайну жизни сероликих людей, уберегавших свои доисторические нравы и обычаи от нынешней цивилизации.

– Я устрою тебе нечто похожее в горном массиве М’Тун. Мы сунем ему под нос местечко, где в равных долях будут и кусочек пустыни, и клочок оазиса, и горные ледники. Тебе подойдет?

Я сказал, что да.

– А когда мы доберемся до Айяши и поднимемся на половину его высоты, ты скажешь, что мы опоздали, по-видимому, горная лавина погребла под камнями Иргиз, и я привезу вас обратно. Как ты думаешь, он проглотит такую байку?

Я ответил, что он сам ни о чем другом и не помышляет, особенно из-за своей Лотарингии. До утренней зари мы обсуждали все подробности будущего спектакля, подбавляя в ванну горячей воды, а потом отправились часок вздремнуть. Я чувствовал, что как раз вовремя попался на ее пути: чувство мести заставит ее повести моего бедолагу в несуществующий заповедный край, чтобы хоть немного отдохнуть от гусей, привычных рекламированных маршрутов, обязательных красот, безделушек и воспоминаний по сниженным ценам. Мы лежали голышом, прижавшись друг к другу под прохладными простынями, и у меня не появлялось никаких желаний; то, что я испытывал, походило на какую-то нежную доверчивость, и я решил, что, может быть, вот-вот влюблюсь по второму разу.

– Знаешь, Валери. . .

– Что?

Я уткнулся носом в ложбинку ее плеча, и запах ее тела вытеснил все мысли.

– Так.

Она тихонько прижала к себе мою ладонь:

– Не забивай себе голову. Спи.

Без десяти восемь я нашел моего атташе в холле. По его лицу было видно, что он провел ночь без сна; для путешествия он напялил на себя костюм геолога: высокие башмаки и бежевую хлопчатобумажную курточку с короткими рукавами, белый легионерский шарф и бейсбольную каскетку. Он достал себе радиотелефон и, сжимая его в руке, нервно мерил шагами холл.

Завидев меня, он бросился навстречу, волоча за рукав детину боксерского вида в джелабе, и представил его как Омара, специалиста по Атласу, согласившегося отвезти нас туда в своем джипе. Я отвел Жан-Пьера в сторонку и прошептал ему, что этого не следовало делать. Так как он не мог взять в толк, почему я заупрямился, пришлось объяснить ему, что Омар – из народности разауи, искони слывших заклятыми врагами сероликих людей из Иргиза. Довод попал в цель. Жан-Пьер отправился улаживать вопрос с боксером, и тот, получив отступного, ушел, довольный удачным дельцем.

Тут я сообщил Жан-Пьеру, что отыскал для нас идеального шофера: девушку из почтенного бордоского семейства, с фамилией, начинающейся на «де» (в общем, если говорить точно, не совсем на «де»: на «д» с закорючкой вверху). Я убеждал его, что они быстро найдут общий язык, тем более что эта особа знает Атласские горы назубок и даже слышала о существовании сероликих людей, хотя, впрочем, не смогла бы сама отыскать тропы в заповедную долину. Он оставался все таким же мрачным, и я под конец счел нужным весело добавить, что нам достаточно лишь в нужный момент завязать ей глаза. Он поинтересовался, где она сейчас, и я ответил, что на пляже. Тогда он вдруг забубнил, что телефонный номер занят. Я растерянно уставился на него, и он, сложив телефонную антенну, пояснил: слышны только гудки, а значит, он израсходовал всю ленту Клементининового автоответчика и теперь до него не доходит даже голос бывшей жены, просящий передать сообщение после звукового сигнала. Хуже для него не придумаешь: теперь между ними все кончено – дальше тишина. Мне осталось просто прошептать:

– Но я-то здесь.

Он поглядел на меня странно внимательным взглядом, словно пытался уяснить, какую роль я играю в его сложных семейных отношениях, а затем снова вытянул антенну и сказал:

– Я люблю ее.

Да, как видно, ночь не поправила его дела, подумал я, а значит, самое время шевелиться. И потащил его на террасу. Он покорно плелся, еле удерживая в повисших руках телефон с волочащейся по полу антенной, словно человек, прогуливающий по улицам поводок своего недавно умершего пса. Их встречу я устроил под солнечным тентом, после завтрака, чтобы он мог увидеть ее в купальном костюмчике, служившем, по моему разумению, самым весомым доводом в пользу Валери; другой ее довод – обещание блеснуть изысканной добропорядочной манерой выражаться, принятой в лучших семьях Бордо – не внушал мне особого доверия.

– Мадемуазель Валери д'Армере, – представил я ее. – А это господин Жан-Пьер Шнейдер, мой атташе по гуманитарным вопросам.

– Как поживаете? – спросила Валери, протянув ему руку. В эти слова она чуток переложил рахат-лукума, но мы так и договаривались, так что пока роль удавалась ей.

Жан-Пьер несколько растерянно глянул на меня, потом переложил телефон в левую руку, чтобы протянуть правую девице.

– У вас есть на примете подходящий автомобиль? – спросил он.

– Могу вам предложить настоящий корабль пустыни, модель разработана для гонок Париж – Дакар. Восемь ведущих полуосей, триста пятьдесят лошадиных сил, три тысячи пятьсот километров автономного пробега; кондиционированный воздух, душ, туалет, кухонный блок.

Ни дюны, ни солевые болота, ни снег, ни песок не способны его остановить, а вы сидите как дома, в клубном кресле перед экраном телевизора.

– Наши претензии скромнее, – только и выдавил из себя Жан-Пьер.

– За шесть дней двадцать тысяч франков. Незабываемые ощущения гарантированы. К тому же платить будет ваше правительство. Кофе?

Жан-Пьер уселся по-турецки на песок и застыл с прямой как палка спиной. Нет, спасибо, он уже завтракал. Увы, отпущенные ему средства не беспредельны. Затем он принялся задавать ей вопросы по географии, проверяя ее компетентность, и неожиданно показал себя весьма подкованным. Наверное, прокорпел над картой всю ночь. Ветер сорвал с него каскетку, и я отправился за ней вдогонку.

Было уже тепло, от песка шел жар, птички и коты дрались из-за оставленных людьми крошек. Какое-то время я не отрывал глаз от воздушного змея с трещоткой, парившего на нитке, которую сжимал в кулачке маленький мальчик. Малыш ревел, уставясь на кончики своих сандалий. Нескончаемый пляж с шеренгами людей, листавших «Вельт», «Монд», «Су-ар», «Матен», «Гуд морнинг», «Морген», не имел запаха и был совершенно тих. Ни рыбака с удочкой, ни паруса в море, ни скалы на берегу, ни радостного смеха – гладь и безмолвие. Там, откуда я ушел, Валери отвечала на вопросы, глаза ее блестели, и она поднимала палец, как в школе. Я смотрел на нее и начинал забывать об уютных марсельских бухточках. Каскетку Жан-Пьера я принялся усердно отчищать от пыли, чтобы иметь какое-то занятие и не мешать им как следует познакомиться.

Когда я наконец к ним подошел, они сошлись на «лендровере» за девятьсот дирхемов в неделю, не считая бензина. Жан-Пьер уже начинал понемногу расслабляться. Я позволил себе заметить, что со своей белой кожей северянина без каскетки он сожжет себе лицо. Валери тотчас схватила свой тюбик и, не спрашивая у него разрешения, намазала ему кремом лоб, щеки и нос. Я же подметил, как он украдкой поглядывает на то, что у нее под купальником, и это мне понравилось. А тут завершал его телефон, он вскочил, подняв вокруг себя кучу песка, и отошел, чтобы сделать вызов. На сей раз он звонил не Клементине, так как я расслышал «господин директор», и сразу он перестал походить на маленького мальчика. Стал почти мужчиной, хотя и из тех, кто всегда не в своей тарелке. Ну да, на него возложена ответственность, он отдает себе в этом отчет, но незачем его в чем-то обвинять, ни его, ни выдворенного уроженца Марокко: им необходимы время и средства, чтобы выполнить взятую на себя миссию, твердил он, шлепая ногами по мелководью. Таким он мне очень нравился. Я был горд тем, что он пытается отбиться и защищает меня. Я даже обернулся к Валери, призывая ее в свидетели. Однако ее лицо не выражало особого воодушевления.

– Гнилой парень. Дырявая кастрюля.

– Дырявая что? – переспросил я.

– Кастрюля.

Я поглядел на Жан-Пьера, шлепавшего взад и вперед по кромке воды с подвернутыми штанинами, носками в одной руке и телефоном в другой. Он уже дал отбой и теперь снова пытался дозвониться до автоответчика своей Клементины, и могу дать голову на отсечение – он снова превратился в сосунка.

– Ему надо бы влюбиться в тебя, – сжав зубы, процедил я.

– Что ж, влюбиться так влюбиться! – вздохнула она с чинной покорностью уроженки Бордо и потянулась. – Ты не намажешь мне спину?

Она перевернулась на живот и растянула лифчик. Я втер крем ей в спину, не отрывая глаз от Жан-Пьера. Волоча ноги по песку, тот печально слушал гудки автоответчика.

– Понимаю, он, наверное, кажется тебе странным. . .

– Нет.

– Да? А почему?

– «Все характерные особенности поведения, объективно наблюдаемые у гусей, потерявших своего партнера, – зевая, прочитала она на память, – в значительной мере проявляются среди людей, удрученных расставанием».

Вдруг Жан-Пьер издал вопль, выпустил телефон из рук прямо в воду и прыжками помчался к нам, размахивая руками, словно ветряная мельница.

– Конрад Лоренц, «Агрессивность», глава одиннадцатая, – закончила цитировать Валери, перевернувшись на бок и опершись на локоть.

С багровым, искаженным от боли лицом он рухнул прямо на се завтрак и задрал ногу. Потом грубо сорвал с Валери лифчик и обвязал его тугим жгутом вокруг лодыжки. Я только хмыкнул: мне-то казалось, что я подам им на блюдечке неспешную любовную историю, роман при свете костра у горного уступа, где они раскроют друг дружке свои разбитые сердца.

– А трусы мои тебе не нужны, господин Чурбан? – закричала Валери, отбросив прочь полотенце, которым я хотел было прикрыть ее грудь.

– Морской дракон, – запыхавшись, прохрипел Жан-Пьер. – Такое со мной уже однажды было в Раматюэле. А я аллергик. . . Я. . . У меня в комнате есть телефон моего врача. . .

И он боком заполз на купальный матрасик, его била дрожь. Да, в таком путешествии подобный тип – отнюдь не подарок.

Надув от ярости щеки, Валери вскочила на ноги, напялила свою тенниску и не слишком вежливо заметила мне:

– Как видишь, при прочих равных условиях мои гуси для меня предпочтительнее.

И она бросилась по узенькой дорожке, тянувшейся вдоль пляжа за шеренгой эвкалиптов. Я уже начал было думать, что на том наше путешествие и закончится, когда она возвратилась с симпатичным парнем и тот мне помог дотащить нашего атташе до своего такси.

– Мне больно, – стонал Жан-Пьер.

– Пустяки, обойдется, – успокаивал я.

На нашем пути курортники переставали играть в волейбол, и мне было стыдно нести, как мешок, по пляжу моего недотепу в костюме льва пустыни с лифчиком вокруг лодыжки. Я стыдился и переживал за него.

– Тебе сейчас везти в поликлинику, мисью, – повторял шофер. – Там тебе лечить.

Я злился и на него тоже – за его уродский выговор, оскорблявший мой родной язык. Я бы с удовольствием подрался с ним по-мужски, как араб с арабом, в моем положении это был бы единственный способ нормально пообщаться с кем бы то ни было, потому что мне все обрыдло, обрыдло, обрыдло. Жан-Пьера я бросил, как тюфяк, на сиденье старого «пежо», и он замычал в истерике:

– А. . . А мой телефон?

– Дерьмовая жизнь! – подытожил я.

Он снова принялся клацать зубами, а потом потерял сознание, уронив голову мне на плечо и трясясь в разъезпанной четырехстачетверке по всем ухабам проселочной дороги. Валери права: этот тип – кастрюля, дырявая кастрюля. Она перегнулась через атташе и схватила меня за руку, так мы и доехали, пихая друг на дружку этого беднягу, которого мотало между нами. То, что она так же раздражена, как и я, меня немного успокоило, хотя мы не проронили ни слова. Меж нами действительно что-то происходило, хотя что именно, не могу сказать, но ничего подобного я раньше не испытывал. Ведь мы же встретились: она, после долгих лет бессмысленной зубрежки кончившая гидом, и я, потерявший годы и годы, ломая автомобили и скучая до слез по оставленной школе. Мы дополняли друг друга: два

неудачника по бокам третьего – атташе-смертельный-номер, которого хотелось отослать назад в его страну с письмецом для его жены. Но я не умею долго быть эгоистом, возможно, потому, что мне нечего защищать.

Я выпустил руку Валери. Одновременно со мной она сжала пальцами коленку бредившего Жан-Пьера, которого мучили кошмары, и этот жест заставил меня полюбить ее еще сильнее. В конце концов именно чего-то подобного я от нее и добивался: чтобы она нянькалась с этим великовозрастным младенцем вместе со мной, чтобы мне удалось хоть ненадолго почувствовать себя отцом. Может, такие желания приходят из детства, не знаю, но и она тут сыграла не последнюю роль: я чувствовал, что и ей, и мне необходимо что-либо поосмысленнее передка, чтобы любить друг друга.

Я взволнованно пялился на нее, как вдруг заметил, что нашего атташе раздуло. Да, такая аллергия – отнюдь не шутка, его отек норовил заслонить нам обзор, и я отвел глаза (из осторожности, чтобы не прыснуть). Валери тоже, должно быть, вообразила, что он будет раздуваться и раздуваться, пока не раздавит нас о бока машины. Послышался какой-то сдавленный кроличий писк: она тоже пыталась подавить приступ смеха, и для моих ушей он прозвучал как сладкая музыка – так хихикают подельщики. Вероятно, в подобную минуту я не имел права чувствовать себя счастливым, однако никогда не знаешь, где несчастье подкарауливает тебя самого, а потому счастье следует подбирать везде, где оно плохо лежит. Такова моя философия, и хорошо, что теперь есть кто-то еще, кто ее разделяет. . .

Поликлиника оказалась новеньким зданием на холме и выглядела гораздо роскошнее, чем диспансер Святого Иосифа в Марселе-Северном. Доктор в безукоризненно белом халате принял от нас и погрузил пострадавшего на тележку, а затем возвратился, чтобы спросить наши имена и заполнить карточку.

- Это мой приятель, случайный попутчик, – сказал я.
- А вы кем ему приходитесь? – спросил он у Валери.
- Я владелица лифчика.

Он поднял голову и проворчал, что жгут из ее бюстгальтера слишком затянут и пациент рисковал получить гангрену. Валери уточнила, что он, кроме всего прочего, аллергик, но ей неизвестны противопоказания. Ну, укол-то ему уже сделали, успокоил нас врач, а дальше будет видно. Он ушел, забыв прихватить заполненные нами бланки.

Я шепнул Валери на ушко, что нахожу его странноватым; она заметила, что сейчас, слава Богу, не рамадан, а то в прошлом году ее отцу оперировали мочевой пузырь во время поста, и хирург потерял сознание, зашивая разрез. Чтобы немного отвлечься от дурных предчувствий, я спросил ее, чем занимается ее отец. Она отвечала, что он тоже врач, но бросил практику из-за пьянства. А теперь занимается садоводством. Нет, не для денег, а от отчаяния: после смерти жены мир для него перестал существовать.

Меня охватила страшная грусть, так как на ум взбрело, что, умри сейчас Жан-Пьер на своей каталке, земля не прекратит вращаться. Его Клементина станет вдовой, что гораздо престижнее развода, а лотарингская родня хоть и погрустит – не без того, – но они-то помнят семнадцатилетнего будущего писателя и совсем не знали атташе по гуманитарным проблемам, пентюха-неудачника с его чемоданчиком, радиотелефоном и бейсбольной каскеткой; вот он-то станет моим личным усопшим, я единственный, кто не устанет оплакивать его такого, какой он сейчас; но мне полезно было бы кого-нибудь оплакивать. На этого по крайней мере я очень рассчитывал, и после него осталась бы пустота, потому что он бы покинул меня не по своей воле.

Через полчаса нам его вернули, уже не раздутого, победно семенящего и довольного, что аллергия побеждена, «между тем как тогда, в Раматюэле, не поверите, я бредил три дня

подряд с температурой под сорок». Потом он попросил прощения за беспокойство и пожелал во что бы то ни стало подарить Валери новый купальный костюм, как я заподозрил, она начала ему нравиться, и потому я намеренно не стал выходить из такси, когда они делали покупки. Видимо, он даже огорчился, что я не разделяю его ликования, но мне требовалось какое-то время, чтобы избыть свою печаль: ведь всего полчаса назад я его почти что похоронил.

6

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ

Жан-Пьер Шнейдер

Агадир – Иргиз (Марокко)

Ясно, солнечно, 25°C.

Отъезд в 14 часов по дороге Р32, соединяющей Агадир с Варзазатом. Следуем вдоль реки Сус по равнине с роскошной растительностью; пастухи пасут свои стада под оливковыми деревьями и арганиями, причем длинные колючие шипы последних послужили причиной нашей первой задержки: прокол шины. Азиз взял на себя смену колеса.

Пастухи в бурнуссах сбежали к нам отовсюду. Я-то по наивности подумал было, что они предложат помощь. Увы, их единственным желанием оказалось что-нибудь выклянчить. Наша проводница помешала мне раскрыть кошелек, в качестве довода указав на их многочисленность. Заодно она обучила меня первому арабскому выражению – «ашиб Алла», что значит: «Аллах подаст». Я повторяю это, постепенно совершенствуя свое произношение, так что новоприбывшие обслуживаются качественнее первых. Шучу, конечно, но картина вопиющая: нищета, обусловленная не столько жизненными обстоятельствами, сколько социальным рефлексом. Как всегда, виноват Запад. Везде, где сказывается его влияние, он окультуривает, создавая новые потребности. «Ашиб Алла». . . Деликатность ритуала, привитого на почву отвратительной реальности.

Вспоминается великолепная фраза Люсьена Гитри. Однажды, увидев сидящего у стены слепца, он дал маленькому сыну золотую монетку, чтобы положить нищему в шляпу, а потом спросил: «Саша, почему ты не улыбнулся этому человеку, когда творил милостыню?» – «Но он же слепой, папа». А отец отвечает: «Конечно, милый, но вдруг это фальшивый слепой?»

Азиз справился с колесом, и мы вновь трогаемся. Скорее бы покинуть эти равнины, слишком обкатанные туристами! Впрочем, я прекрасно отдаю себе отчет, что в этом путешествии с элементами инициации, приобщения моего спутника к жизни предков, важно буквально все.

Жара вполне терпима. Азиз сидит впереди, я – на заднем сиденье, под которым лежат канистры с бензином, и струйка воздуха из окна помогает кое-как справиться с дурнотой. Голова Азиза повернута к снежным вершинам Атласа, которые уже обозначились по левую руку. Угадываю, сколь напряженно и тревожно его ожидание; постараюсь выразить его в слове, но позже, когда все отстоится. Пока же делаю лишь некоторые заметки, веду бортовой журнал, который послужит доказательством подлинности нашего предприятия, и притом позволит мне избежать *a posteriori** подвохов памяти.

Набрасываю эти строки около живописного водопада среди расположившихся на пикник немцев, чудовищно дисгармонирующих с экзотической красотой здешних мест. Олеандры. Финиковые пальмы. Опунции. Верблюды напрокат. По штабной карте-миллиметровке определил, что наша проводница сделала крюк в сорок километров, чтобы мы могли полюбоваться видом. Вечером или завтра намекнуть ей, что мы не имеем ничего общего с *туризмом*. Все прелести местного колорита,

*впоследствии (лат.).

как бы хороши они ни были, не совпадающие с тем маршрутом, который избрал Азиз, вне нашего круга интересов.

Мы без остановки пересекаем Тарудант и его базары, мимо мелькают бугенвилей, проносятся крепостные стены XVIII века с аистинными гнездами. Мадемуазель д'Армере правильно поняла мое нетерпение. А точнее, непереносимое условие: я не открываю, я воспринимаю. Я подготавливаю. Тренируюсь.

Сколько лет я уже не писал! Стиль. Позаботиться о стиле.

P.S. Когда в Таливине нас остановил дорожный патруль, в ее паспорте я прочитал ее фамилию целиком: д'Армере де Вильнёв. Я был знаком с одним Вильнёвом на подготовительных курсах в институт. Спросить при случае, не родственница ли она ему?

Среда, 26-го.

Время то же.

Провели ночь в «Клуб Караме», шикарном отеле Варزازата. Отвратительно. Кондиционеры, прислуга. На будущее – требовать ночлега у коренных жителей, в крайнем случае на местных постоянных дворах. И к тому же, черт подери, в наше снаряжение входят палатки! Будем разбивать лагерь! В нашей истории нет места для патентованной асептики международных отелей.

Что до Варزازата – ничего примечательного. Казармы иностранного легиона, за фасадом которых обрел приют паб в английском стиле. Американские автобусы еле плетутся по песку к глинобитной деревушке, где Орсон Уэллс снимал «Содом и Гоморру». Сувенирные сигары, «подлинные» кресла режиссера с его именной табличкой на спинке. Жалкая картина.

Стараюсь восстановить утраченный контакт с Азизом. Он уклоняется, а я не понимаю его нового настроения. Казалось, он полностью разделял мой энтузиазм в аэропорту Рабата, когда мы закладывали основу моей будущей книги. Мне необходим *его взгляд* на страну, ведь именно ему предстоит стать в романе рассказчиком. Мои персональные реакции не имеют никакого значения, и я стараюсь не фетишизировать их. Но если собственные впечатления Азиза не подхватят мою эстафетную палочку, говорить будет не о чем и повествование сойдет на нет.

Быть может, Азиза стесняет присутствие «третьего лишнего». Мне надо бы поговорить с Валери, но это тоже нелегко. Я чувствую: между нами воздвиглась какая-то стена, и здесь тоже дело в Азизе. Он уловил, что ее явственно притягивает ко мне – конечно, она успешно сопротивляется своему чувству; впрочем, сделавшаяся инстинктивной холодность необходима для ее профессии: ей фатально приходится терпеть наскоки всякого самца, не вышедшего из возраста, в котором способны любить. Возможно ли, чтобы при его внешности, его двадцати годах, улыбке, крепких плечах Азиз *приревновал* меня к ней?

Если именно так и есть, это было бы прискорбно для моего романа, но восхитительно для меня. Ведь мне уже тридцать три года, правда, без шести месяцев. Боже всемогущий! Что я сделал со своим талантом? Да, да, знаю. Но за кого мне сражаться? Я позабыл о женских взглядах с тех пор, как моя жена меня в упор не видит. Валери д'Армере де Вильнёв. . .

Не стоит об этом.

P.S. В том чувстве, что она демонстрирует по отношению ко мне, не заметно и

тени сексуальности. Лишь взаимное притяжение людей одной культуры. Странно, что она так заблуждается относительно меня – она, выходец из замкнутой касты бордоской знати, с неперемной учебой в пансионе, воскресными хождениями к мессе, простынями с кружевами, занятиями на фортепьяно, уроками гольфа. . . Она отождествляет меня с собой, она судит обо мне по дипломатическим этикеткам моего чемодана; быть может, она принимает меня за кого-нибудь из боковой ветви Шнейдеров, входящих в политическую и индустриальную элиту Франции, владельцев «Крезо», тех, кого преподаватели истории именуют «Шнедры», чтобы блеснуть эрудицией перед учениками, так же как тогда, когда роняют «Брей», «Ласе» или «Тремуй», имея в виду благословенных обладателей имен, которые произносятся не так, как пишутся, и очаровывают всех прочих, воспитанных культурой готовой одежды. Меж тем как подлинный принц, наследник, последний представитель династии, живое продолжение традиции – это как раз Азиз. Я же вышел оттуда, где читают «Юманите» по воскресеньям и почитают патрона в будни, покорно проживают раз и навсегда прочерченную жизнь: от калитки к заводу, а потом от проходной – в кафе, где трогательно гордятся профессиональным братством, добротной работой – всем, с чем я порвал.

Однако и она бунтарка. Достаточно поглядеть на ее тонкие пряди, природой созданные для шиньона, грубо откромсанные кухонными ножницами, на кожу без грима, татуировку на руке, на чисто мужскую манеру чуть выпячивать подбородок, когда говорит по-арабски, резковатый голос. Непокоренная бунтарка. . . Она избрала себе в удел трудные тропы, высохшие русла рек, необозримые пространства. Я – книги, свободу, умственный труд. И чего мы оба достигли? Никому не нужный атташе по связям с прессой. И рядом с ним – глотающая пыль бродяжка, окруженная измочаленными туристами, фотографирующими прирученных туарегов, промышляющих торговлей открытками.

Вчера вечером в ресторане, где на столиках лежали гротескные меню в твердой обложке с тарабарским тиснением, – голубой лучик ее взгляда, протянутый к моим рукам. А у меня руки с короткими, квадратными пальцами человека, не причастного к иному труду, кроме физического. Из третьего поколения сталеваров. В них так трудно держать авторучку. И все же, и все же. . . Видела бы ты меня сейчас, Валери, на моем стуле из синтетического каучука, перед стаканом йогурта, в котором плавают мои пшеничные проростки, посреди горной террасы с видом на вершины Высокого Атласа, меня, который все пишет, пишет, не замечая красот природы – до них ли мне теперь! Важны лишь руки, пытающиеся выразить, каков я есть. Я всегда прятал эти руки там, в Париже, на коктейлях в стенах Кэ-д'Орсэ*, на званых обедах, а вчера вечером, знаешь, я с гордостью выставлял их тебе на обозрение. Мы свернули с автострады Р32. Наконец-то! Куда ни глянь, никаких туристов – настоящее приключение начинается. Несколько полуонемеченных берберов голосуют на дороге. Валери не останавливается. Через опущенное стекло я кричу им: «Ашиб Алла!»

В нашем доме на колесах царит какое-то непередаваемое возбуждение. Охватившее всех единое чувство: наконец мы вступили на стезю, где поджидает неизведанное, *действительно* вышли на дорогу в Иргиз. Даже молчание Азиза обрело иной смысл: теперь оно нам сопутствует, как добрый ветер парусам. Словно

*Обиходное название Министерства иностранных дел, расположенного на набережной Кэ-д'Орсэ в Париже.

улыбки Валери, посылаемые мне в зеркальце заднего обзора, светлые, дружеские, пронизанные терпеливым любопытством, – словно эти улыбки поддерживают его силы. Я ошибался: он ко мне не ревнует (а я-то воображал!). Он почувствовал, что я неравнодушен к Валери и просто опасался отказа с ее стороны, который бы отравил атмосферу нашей экспедиции. Видя же, что Валери не занимает круговой обороны, он помягчел. И явно воображает себя в роли нашего крестного отца. Как, бишь, говаривали еще в лицее? Держать свечку, вспомнил. Азиз, факелonosец ты мой, готовь спички.

Этот парень потрясает меня. Такая простота, деликатность его молчания, доброжелательность в мой адрес, зрелость младенца, возвращенного древними камнями, наблюдавшего течение веков, не поколебавших устои души. Именно он придаст книге объемность мифа. Все будет выстроено вокруг него как главного персонажа, от лица которого я, быть может, смогу когда-нибудь писать, как от моего собственного, когда усвою его взгляд на мир и проникну в тайники его воображения.

Странный он, Азиз. Склонный к провокации, чуждый религии, необразованный, не ведающий собственных традиций! Он протягивает мне руку, спасательную трость. Он провоцирует всякие случайности, которые сдобрят мою книгу. То, что со мной происходит, невероятно. Я видел в нем свою музу, а он оказался каким-то «дьяволом-хранителем», способным искушать и преобразовывать события и даже людей на своем пути, таким образом давая наполнение моей книге.

Представляю, во что вылилось бы наше путешествие в джипе этого Омара, которого я тогда где-то выловил. Даже одной главы не вышло бы. Спасибо тебе, Азиз («шокран» или более торжественно: «барака Алла фик». Буквально: «Да наделит тебя Аллах чудотворной силой».).

В семнадцать часов во время остановки в великолепном цирке Джаффара (стада верблюдов, вековые кедры, можжевельник, непреодолимая громада заснеженного джебеля Айаши*), воспользовавшись отсутствием Азиза, отлучившегося по нужде в ближайшие заросли дрока, я спросил Валери об иргизской легенде. Она несколько снисходительно подтвердила существование преданий о «заповедной долине», где сохранились доисторические растения и животные, но в ее речи меня удивил оттенок какого-то осуждения, словно ей хотелось заранее подвести подкоп под мой оскорбительный скептицизм, если я к таковому склонен (не является ли здесь, в Атласе, скептицизм «левой рукой» разума?*)).

Одним словом, у меня было такое чувство, словно я говорил об НЛО со специалистом из ПАСА, который засыпал меня вырезками из досье: проверенные данные о скорости, показания радаров, материальные следы. Аналитическая точность перед лицом всего лишь допустимой гипотезы. (Nota bene: перенести в книгу мои наблюдения на коллоквиуме «Пограничные области науки» в Пюи-Сен-Венсане, куда меня послало Управление книжной и рукописной продукции сопровождать того испанского физика, который утверждал, что обнаружил на молекулярном уровне доказательства внеземного происхождения некоей цивилизации Умнитов. По Лупиаку, то был просто заговор КГБ для дискредитации европейских ученых. Я всегда

* гора Айаши.

** Литературная аллюзия: «Снег – всего лишь левая рука тьмы. А тьма – всего лишь правая рука света. . . » Урсула Ле Гуин. *Левая рука тьмы* (русск. перевод. Новосибирск, 1992).

оставался противником его версии. Объяснить почему. «Нет» всякому последовательному опровержению мечты. Уважать то, что превосходит наше понимание.)

Так вот, Валери пичкала меня ссылками на данные палеонтологии: отпечатки ископаемых ящеров из Имин-Ифри (25 миллионов лет) и их громадные яйца, обнаруженные в неправдоподобном состоянии консервации. Места отправления неолитического культа в Тизин-Тиргиз, тысячи наскальных изображений из Тинсулина и с берегов Дра, исполненных в технике гравюры резцом (10000 лет)... Если ее послушать, Марокко изобилует граничащими с чудом следами древней жизни, местами, где на протяжении веков ничего не менялось, тайнами, не поддающимися расшифровке. Что до мест, подобных Иргизу, их сотни в недоступных ущельях Высокого Атласа. А асфальтированная дорога, угрожающая равнине сероликих людей, – магистраль СТ1808, предназначенная для обслуживания горнолыжной спортивной базы около горы Вавизагт (3770 метров), да, того самого отвратительного шрама на лице природы, той стройки, что мы только что миновали.

Когда вернулся Азиз, она взяла его в свидетели. Он подтвердил ее слова. Она спросила, далеко ли мы от тех мест. Он встал в середине цирка, уперев руки в бока, и долго поворачивался в разные стороны, казалось, разыскивая в ослепительной белизне ледников самый удобный для преодоления перевал. Она быстро проговорила что-то по-арабски, он же ответил только долгим, очень серьезным покачиванием головы. Затем она посмотрела на меня. Она не захотела перевести, о чем его спрашивала.

Обильный ужин вечером в *тигремте*, крашенном охрой доме-крепости с окнами, обведенными белой краской, отгоняющей злых духов (*жнун*). Мятный чай, *харира* (суп неопределенного свойства), *таджта* (тушеное мясо) с черносливом, *кефта* (фрикадельки), гигантских размеров стручки жгучего перца, который я съел, приняв за сладкий, и два литра воды, призванной затушить пожар, Несмотря на предостерегающие восклицания Валери, опасавшейся бактерий. А мне на них плевать, для меня теперь единственная нечистая вещь, которую надобно избегать, – моя левая рука. Тридцать два года минеральной воды «Эвиан» – стоп. Я жить хочу. Я выбросил мои пшеничные проростки.

Потом я отдалился от глинобитных хижин селения, чтобы справить малую нужду подальше от чужих глаз, и, потирая горящее горло, очутился среди коз и каменных дубов (проверить, те ли дубы). Там меня отыскала Валери. Мы сели на старые покрышки. Она взяла меня за руку. Пот, уже пропитавший мой пуловер, как по волшебству, высох. Она мне призналась, что Азиз никак не может найти вход в свою долину. Я успокоил ее, что время у нас еще есть. Что впервые в жизни мне так страшно хочется, чтобы время еще было. Она коснулась своими губами моих и подарила мне поцелуй, продлившийся добрых двадцать секунд. Потом она отпрянула, гордо вздернув подбородок, с непокорной прядкой на глазах, и спросила, лучше ли мне теперь. Я ответил, что лучше. Она прошептала, что ослабила действие перца и по сему случаю накидываться на нее бесполезно.

Я глядел, как она удаляется к хижинам. Запечатлевал в памяти силуэт ее фигурки, тонкой и отчаянно юной, живой, недоступной. Как предложить свою любовь фее, которая смеется над вами? Да и занималась ли она когда-нибудь любовью? В ней есть нечто неизлечимо девственное: резковатое свободолюбие, мечтатель-

ная непреклонность, безотчетная меланхоличность. Быть может, именно об этом она и пыталась мне сказать. Я еще никогда никого не лишал невинности. Агнес, Агнес. . . Как далеки Юканж и ты, там, в моей комнатке, где я читал тебе мою рукопись и, опьяненный собственными фразами и тобой, моей единственной читательницей, целовал тебя на кровати, ласкал тебя, а ты говорила «нет», ты повторяла: «Читай еще». И я читал.

Если нам придется, Валери, заниматься любовью и если для тебя это первый опыт, верь мне, я буду таким же девственным, как ты. Я вдруг почувствовал, что мне только пятнадцать. Однако должен заметить, что твой поцелуй ни в коей мере не прекратил жжения от перца.

Я счастлив. Так ли?

Посмотрим.

Первая ночь под открытым небом. Я ненароком порвал желтую палатку, желая обрезать слишком длинную веревку. Валери ставит зеленую и обосновывается там. И тотчас тушит свою газовую лампу.

В час ночи – ужасная буря, прямо-таки дантовской мощи. Азиз и я, промокшие до костей, укрываемся «в лендровере». Через десять минут неизвестно откуда обрушивается грязевой поток и уносит покинутую нами палатку. Мы бросаемся к той, где Валери, хлопаем по полотну, отдергиваем застежку-«молнию». Она полусонным голосом обругивает нас и посылает куда подальше. В трех метрах от нее, спящей, бушует поток. Мы колеблемся, решая, не вытащить ли ее силой, а затем по очереди дежуриим, наблюдая за палаткой через лобовое стекло, до самого конца грозы.

Семь часов утра. Похолодало на пятнадцать градусов. Накинувшая пуловер Валери только что выбралась из палатки. Я зажигаю фары, чтобы она видела, куда ступает, и выхожу из машины, неся ей термос. Она бросает рассеянный взгляд в огромную выбоину, проделанную ночным потоком, и роняет фразу, которую я никогда не забуду: «Те, кто не любит жизнь, знают, когда им помирать. Я ничем не рисковала».

Она делает пипи за палаткой и возвращается в нее досыпать. Встает заря, небо, как и вчера, кристально ясное, с мерцающими звездами. Я закрываю термос и возвращаюсь в машину, где продолжаю писать, положив блокнот на руль. Азиз, привалившийся в своем спальнике к дверце, хмуро бормочет, что мне бы лучше потушить свет, а то сядет аккумулятор. Он вновь засыпает. Высоко в небе над нами кружит орел.

Перечитываю фразу, произнесенную Валери. Она станет гвоздем моей книги. Моей книги. Уже не знаю, что в ней будет. Мне наплевать на Иргиз, на сероликих людей, на Кэ-д'Орсэ, мою миссию, на водворение Азиза на его родину, поскольку он может позаботиться обо всем этом и сам. Валери, Валери, Валери. Ах, как. . .

Откладываю авторучку, чтобы закончить фразу в мечтах.

Воскресенье, 29-го.

Ослепительное солнце, 20°C.

Не знаю, с чего начать. Моя жизнь перевернулась.

Вчера вечером я не вел записей. Не мог.

Чудесный, погибельный, несказанный. . .

Для чего служит прилагательное?

В субботу утром, без десяти восемь, подошла Валери и постучала в мою дверцу. Просыпаюсь, открываю. Она вытаскивает меня из «лендровера» и тянет к обрыву. Взгляду открывается пустыня в цвету. Палево-фиолетовые, желтые, голубые пятна, мерцающая, проступают на растрескавшейся земле. Не сдержав восхищения, я сжимаю ее в объятиях, но в ответ слышу, что она, собственно, здесь ни при чем: это всего лишь явление природы. Редкое, но вполне естественное. Как любовь. В Атласе семена растений могут годы дожидаться благоприятного дождя, который позволит им прорасти, и тогда они взрывообразно распускаются и расцветают – все разом, под первыми лучами солнца.

Я кладу голову ей на плечо. Она рукой легонько притягивает меня к себе. Мгновение полноты существования, абсолюта, уверенности – фразы закруглю потом. Слова отказываются повиноваться. Лирики я опасаюсь не меньше банальности. Хотелось бы посылать ей письма и ждать ответа, но я в своей жизни потерял столько возможностей! И вот я хватаю ее за руку и бегом тяну к маленькому озерцу, около которого мы остановились на ночлег, чтобы вместе с ней броситься в воду, распугивая розовых фламинго, прижать ее к груди и рухнуть в сияющую рябь. Она кричит: «Нет, не здесь, осторожно!» И произносит какое-то имя, но оно ничего мне не говорит, что-то вроде Билли: может быть, это человек, которого она любила или который здесь утонул, но какая разница?* Ничего, кроме ее тела, не существует во всплесках взбаламученной нами блестящей грязи. Мир принадлежит только нам – полное безлюдье, если не считать Азиза, который где-то готовит для нас кофе. Я опрокидываю ее в жидкую тину, сбрасываю с себя одежду, словно какой-нибудь красавец, она вздыхает и прямо на этом ложе, проваливающимся под нами, отдается мне.

Надо описать то, что произошло потом; но я все еще под впечатлением шока. Да, знаю, я был неловок, груб, но меня так переполняло желание, мне это так было необходимо, что она с каким-то фатализмом впустила меня в себя. Когда я обнаружил, что получил удовольствие только сам, я тихо, с комом, подкатившимся к горлу, пробормотал: «Ашиб Алла», словно нищему, которому не смог подать. У нее хватило снисходительности улыбнуться. «Я люблю тебя». (Это я говорю.) Отвечает: «Да нет». Вот увидишь, когда из этого выйдет книга.

Помогая тебе подняться, я спросил в сомнениях (однако, если уже выглядишь смешным, можно себе позволить и наивность), первый ли я у тебя. Ты отозвалась надменно, но, возможно, только из целомудрия или гордости: «В воде – да!»

Мы отошли от озера, и фламинго за нашей спиной зашевелились, возвращаясь на прежнее место. Не оглянувшись, ты кинулась в свою палатку. Я пошел искать Азиза, который отошел к полупересохшей речке и развлекался, бросая гальку так, чтобы она прыгала по воде. Думаю, он нас видел. Он плакал. Встав около него так, чтобы солнце не жгло ему голову, я принес ему мои извинения. Он отвечал,

*На самом деле она сказала «бильгарциоз». Кишечное заболевание, вызываемое червями-трематодами, переносчиками которых являются водяные моллюски, способные передавать их и человеку. Она мне после все объяснила. – *Примеч. Жан-Пьера.*

что плачет не из-за нас, а из-за воды. Из-за любви в воде. Поскольку я напрасно старался понять, что он имеет в виду, он начал говорить о поляне подземного леса в жерле потухшего вулкана, где благодаря свету, проникавшему сверху, росли платаны и зонтичные пальмы. Маленькие лошади давно утраченной наверху породы паслись у горячего источника, в котором, напевая, купалась среди кувшинок Лила, его возлюбленная, дочь короля Иргиза, который никогда бы не выдал ее за простого жаворонка (sic!), вот почему он добровольно отправился в Марсель на поиски господина Жироди, и потому-то он теперь в отчаянии, так как возвращается с пустыми руками. Он добавил, что не говорил мне этого раньше, но теперь проход к долине закрыт для него потому, что его левая рука стала нечистой от взглядов других людей.

Пытаюсь набросать все по памяти, в общих чертах; это зрелище – молодой парень, насквозь пропитанный солнцем, оплакивающий свое фантастическое видение – оставляет меня совершенно ледяным. Я вдруг начисто потерял интерес к его истории. Потому что начинается моя собственная. Он теперь может неделями водить нас вокруг своей горы – я влюблен и вполне располагаю временем.

Неужели всегда влюбленные так быстро становятся эгоистами? Я посмотрел на часы. Мне хотелось удержать в памяти, что в эту субботу утром, в девять сорок пять утра, я все простил Клементине.

А что я должен ей простить? То, что ей полюбилась «Лотарингия» – моя рукопись, которую я в один прекрасный день прочел ей в ресторанчике? То, что на обедах для студентов в доме ее матери меня просили на десерт почитать несколько страниц оттуда «для возбуждения аппетита»? Нас убила боязнь показаться смешными. По крайней мере меня. Она-то, во всяком случае, не бедна. И с художником жить легче. Достаточно десяти секунд, чтобы все уразуметь: взглянешь на стенку, и готово – художник не так мешает удобно жить, как писатель. А потом, Лупиак действительно пишет красивые картины.

Перед завтраком романтическая прогулка в одиночестве, в мыслях о Ней, о Ней, совершенно новой, о Валери д'Армере де Вильнёв. Сладость моя, моя сирена. Я бродил вдоль русла. Боли в желудке. Думаю, что психосоматического свойства.

Азиз достал нам мулов, чтобы попытаться пройти по южному склону горы: по его уверениям, он напоминает, что проход находится там. Я позволяю ему делать все что угодно. Желудочное расстройство.

Валери занимается обычными делами, чертит маршруты по карте, манипулирует циркулем и компасом, чтобы восполнить недостаток знаний нашего сероликого человека. Как кажется, ее отнюдь не стесняют мои маленькие проблемы. «Я кое-что понимаю в подобных болезнях», – заметила она. Со своей стороны она предупредила меня: нежности, клятвы, разглагольствования о нашем будущем – все, что я горю желанием ей предложить, она отвергает сразу. Что до новых занятий любовью, она бы предложила мне сначала принять лекарства, которые она отыскала в моей походной аптечке. Меня несколько беспокоит, что они все попорчены. Она щупает мне лоб, сжимает запястье и, сосчитав пульс, отвечает: дескать, неизвестно, что больше испорчено, – они или я. Надеюсь, это шутка.

Ее диагноз – амебная инфекция. Вода, в которой мы познали друг друга? Нет, та, которой я запивал жгучий перец.

Предпочитаю последнее.

Азиз на своем муле возвращается под вечер. Он заявляет, что проход должен находиться на южном склоне. Видя, что я весь дрожу в своем спальнике, он спрашивает Валери, что у меня еще. Она отвечает ему по-арабски. Он отворачивается и издыхает. Мне не переводят.

Понедельник.

Пасмурно, 39, 4°С.

Отказался спуститься вниз и обратиться к врачу в Табанте. У меня лихорадка, ну и черт с ней; она вот-вот прекратится, и мы пройдем перевал. Никогда больше я не поверну назад. Роман будет называться «Путь в один конец».

Желудок терзают приступы резкой боли, иногда у меня бывают странные помутнения сознания, отнюдь не неприятные. Они куда-то меня уносят. Я в уме своем *к чему-то приближаюсь*. Что-то важное, отступающее в туман под действием аспирина, но я еще вернусь и найду.

Слишком устал, чтобы записывать свои сны. Слова без всякого порядка, в надежде, что они напомнят об образах: Генрих IV – Ливан – рогалики – лилии – кекс.

Нога после укуса морского дракона снова начала пухнуть, и Азиз поддерживает меня, когда приходится встать и пройти, чтобы сняться с лагеря. Продолжаем огибать горную цепь. Тропу он все еще не нашел.

Подождать ночи с Ней под пологом одной палатки. Вновь обрести Агнес, слова, которые я для нее извлекаю из своей тетрадки. Агнес замужем, дети, просьба быть крестным отцом. Отказ, почему? Все так плохо. Все эти потерянные, испорченные годы. Во имя чего? Стыд. Стыд за то, что я сотворил. Перрон Восточного вокзала. Нет. Пока не надо слов. Еще не время. Забыть.

Четверг?

Ветрено, солнечно. Жар спал. Остаюсь в палатке, пока они исследуют подходы.

Воскресная поездка в Бриер. Маленький домик с разными полустертыми декоративными обманками, которые папа подновлял во время отпуска вместе с бригадой заводских приятелей. Отпуск по очереди: стены общие, а внутренность по вкусу каждого; дом, где все менялось. . . . Лето в Вогезах. Мой первый уик-энд с Агнес, первый раз она сказала «да». Наедине с ней. И папой. «Ты несовершеннолетний, Жан-Пьер, я поеду». Ночь он проспал в своей «симке», под нашими окнами. Ради мамы. Она возложила на него особую миссию, но он нам оставил ночь. Нашу ночь, во время которой мы ничего не сделали. Я тебя люблю, папа. Я никогда тебе не говорил, только писал и никогда не осмеливался заставить тебя это произнести. Та-ри-ри-и, та-ра-ра-а, та-ра-та-та! – в восемь часов утра, чтобы мы успели привести себя в приличный вид; а затем он принес нам рогалики. Клянусь, мне не было стыдно за тебя. В своей голубой рабочей робе, клетчатой кепке и с отяжелевшим лицом, испачканным известкой, ты уже два часа как возился, поправляя запор в двери погреба. «Как дела, голубки, вы, надеюсь, были благоразумны?» С этакой веселенькой беспечностью. Нет, в тот раз я за тебя не стыдился. Только за себя. И

ненавидел Агнес, отказавшуюся отдать мне свое тело. Теперь она отвернулась от отца, поджав губки и уставясь в стену, обернув простыню вокруг груди, которая даже не была обнажена. Мой единственный уик-энд с девушкой. До Кле. Никогда больше у меня не было рогаликов по утрам с кусочками штукатурки. Тогда я на тебя так обиделся, папа. Обвинять тебя было так легко. А ты даже не знал, что существуешь в моей книжке. Что там – твоя жизнь. И для меня ты более нигде, кроме как на бумаге, не существуешь. Не желаю знать, как ты выпиваешь, стареешь, играешь на трубе и похрапываешь за столом. Жизнь, сожженная в доменной печи, к которой ты относился с таким почтением. Печь была твоей гордостью. Прости, папа. Прости за все, что было потом. Прости за вокзал. Мне плохо.

Вечер, числа не помню.

Жар возобновился. Валери ухаживает за мной. Написанное не перечитывал. Хочу освободиться, чтобы это отпустило меня. День моего стыда. Двойного стыда.

Я поступил на службу. Кэ-д'Орсэ. Телексная служба. Функционер. Дипломат. НАКОНЕЦ я мог хоть что-нибудь им доказать, я кем-то стал, а значит, я уехал не зря. Я послал им билеты на поезд. Собирался отпраздновать с ними. В «Охотничьем рожке», памятном для папы ресторанчике, единственном его воспоминании о Париже, о его ночи в столице, в 39-м, перед отправкой на фронт. Приехал поездом, уехал так же, затем четыре года плена и снова на поезде назад, вес – тридцать шесть кило. А теперь я их ждал на вокзале. Ради примирения. На сей раз это был поезд счастья. «Мой сын преуспел в жизни».

Пробки, столкновение, полицейский протокол – и я опоздал на полчаса. Когда я их обоих увидел, растолстевших, раскрасневшихся, напяливших свои воскресные костюмы: он – клетчатую куртку, она – меховое манто соседки, уже послужившее ей в день женитьбы моего брата, я не выдержал. Чемодан из желтого ская, сумочка, купленная на дешевой распродаже, с домашним пирогом внутри. Ее кексом. Я не мог сделать ни шага. Был на грани срыва, боялся их гнева. . . Невозможно подойти к ним. Попросить у них прощения. . . Чтобы простили за опоздание, за то, что еще живу и не даю о себе знать, что влюбился в парижанку. Они кричали друг на дружку, призывая в свидетели вокзального служителя, только пожимавшего плечами. Я не двигался с места. Старался не дышать. Глядел на свое отражение в витрине табачного киоска. Костюм-тройка, круглые очки. Это я? Этот тип из бюро, униформист из министерства, выпотрошенный мечтатель, персонаж Магритта? Я, писатель, влюбленный в нервалевском духе, певец Лотарингии, посвятивший рукопись Бернару Лавилье, тоже выходцу из семьи сталеваров, нашему герою, бунтарю, признанному воителю, чьи яростные призывы передавались на ушко, чтобы начальство не услышало? Чем же я стал? Вешалкой для собственного костюма.

Я не двинулся с места, не позвал, глядел, как, волоча чемодан, они перебирались на другую платформу, чтобы снова сесть в поезд и уехать назад. Папа орал и ругался. Мама утирала слезы. Пирог вывалился из сумки. Я не двигался. Двойной стыд. За то, чем они остались и чем стал я, не пожелавший на них походить.

Когда поезд на Мец, поблескивая красными огоньками, исчез вдали, я подобрал кекс. И сохранил его, так и не осмелившись съесть. Он до сих пор лежит на бульваре Малерб в моем шкафу. Если только Кле его не выбросила.

Рука слишком дрожит. Я все сказал. Я смогу их любить, только когда они

умрут. А если мне выпадет первому? Тогда вечером я позвонил в Юканж. Очень расстроен, что не повстречались, нахожусь в Ливане с экстренной миссией, послал к вам моего секретаря, который, по всей видимости, с вами разминулся, действительно очень расстроен, что так получилось, сам приеду к Новому году. Хватит, Жан-Пьер. Твой отец все понимает: ты нас стыдишься. Незачем было все это ему устраивать. Оставь нас в покое, знаешь, так будет лучше; живи своей жизнью. Моей жизнью.

Сделайте так, чтобы меня прочли.

Вот уже три дня, как он больше не строчит в своем блокноте. Правая нога у него снова распухла там, где его укусил морской дракончик, и ему не удастся зашнуровать ботинок. Ему частенько становится худо от аллергии и от пряных сладостей, которые он продолжает поглощать, знакомясь с местным колоритом. Его лицо – огромный солнечный ожог, и при всем том остается бледным. Он потерял килограммов пять. Но, может быть, это от любви.

Я завел привычку ночью спать в «лендровере», чтобы оставить им на двоих палатку. Валери не рассказывает мне, что между ними происходит, и я отворачиваюсь, когда лампа «молния» начинает рисовать их силуэты на ткани палатки. Впрочем, мы и так почти не говорим друг с другом. Просто смотрим друг на друга, крутим баранку, разбиваем лагерь. И я остаюсь наедине с багровыми восходами над каменной пустыней и оранжевыми восходами над снежными вершинами, лежу, уперев ноги в приборный щиток, в самом полном молчании, какое только может быть, его два раза в день прерывает только дизель шикарного рейсового микроавтобуса, пылящего где-то внизу со скоростью сто километров в час, – это катаются по пустыне туристы класса «люкс».

Однажды утром на берегу водопада, бившего в черные скалы, я, как обычно, глядел на восход солнца, сравнивая его с предыдущим, когда увидел в зеркальце заднего обзора, что Валери вышла из палатки. Она подошла к воде, завернувшись в шаль, с ногами, голыми от нулевой отметки и ниже. Гут никакой бравады, просто полное равнодушие. Холод от камней производил на нее не большее впечатление, чем прикосновение мужчины. Она наклонилась попить, потом потянулась, взглянула на горы, пожала плечами и вернулась к палатке. Разглядев через лобовое стекло, что я не сплю, она сделала небольшой крюк. Открыла дверцу и, когда та заскрежетала, прижала палец к губам, словно урезонивая ее. Мне хотелось с ней заговорить, хотя бы просто поздороваться. Она со вздохом оглядела меня, немного склонив голову набок. Казалось, она спрашивает себя, что я тут делаю и зачем ей вздумалось согласиться на наше предложение, а кроме того – действительно ли наше присутствие так уж необходимо хотя бы для вот этого восхода солнца.

– Красивые тут краски, – произнес я, потому что мне стало очень больно от такого ее взгляда.

Она дорасстегнула мои штаны, у которых я на ночь расстегнул первую пуговицу, и потерлась своей щекой о мою с такой нежностью, какой я за ней никогда не замечал, словно хотела поднабраться у меня умиротворения перед тем, как лечь спать. А затем стала ласкать одними губами, долго, пока солнце совсем не вышло из-за гор и не высветило разноцветные круги на ветровом стекле. Похоже было на знак надежды перед концом света, на какое-то желание, еще не ведающее, что оно напрасно, на счастье, родившееся, чтобы сразу умереть. Она проглотила меня целиком, даже не посмотрев мне в глаза, а потом закрыла дверь и вернулась в палатку; может быть, так она набиралась сил, чтобы доигрывать комедию любви перед Жан-Пьером. Я был не слишком уверен, действительно ли хочу того, что выбрал, но возвращаться вспять было слишком поздно.

Каждое утро Валери составляла нам маршрут, отдалявший нас от цивилизации, – единственный способ достигнуть Иргиза. Чем выше мы поднимались, преодолевая перевалы и спускаясь в ущелья по десять раз в день, тем теснее становились границы нашего жилья и мы крепче жались друг к другу в машине, все трое – на переднем сиденье, закутанные в одеяла, поскольку обогрев перестал действовать с тех пор, как Жан-Пьер решил его отрегулировать. Открыв капот, с английским ключом в руках и отверткой в зубах, он утверждал, что еще лет в двенадцать у себя в Лотарингии умел разбирать карбюраторы. Потом начинал кашлять, и пока он выплевывал куски легких, мне приходилось искать отвертку, которую он

ронял в мотор.

Он все чаще заговаривал с нами о Лотарингии, как если бы то, что он сжег мосты, соединявшие его с жизнью в Париже, открывало дорогу в детство, к самому началу пути. Огибая обрывы, пересекая русла рек, подскакивая на ухабах, мы слышали рев доменных печей, воздуходувок, заводские гудки, видели, как течет из ковша ручеек раскаленного чугуна, и ощущали, как закаляется людская дружба при тысяче пятистах градусах выше нуля. Возникал целый неведомый мир, начинавшийся за калиткой его садика. Маленький домик, стиснутый другими, в точности на него похожими, где все просыпались в одно время и торопились на встречу одинаковому будущему, та же школа, одна на всех безработица. И всякие праздные недоумки, терпеливо поджидающие, пока закроется завод, разъедутся люди и замрет жизнь, чтобы прийти в опустевший городок и обосноваться. Жан-Пьер твердил, что французское правительство обрекло Лотарингию на гибель, чтобы не дать умереть Руру. А я уже не знал, в какой мечте мы пустили корни, куда едем теперь: то ли к воображаемой долине, то ли к заводу, дымящему в далеком прошлом. Валери сидела за рулем, слушая все с полным безразличием, – наш проводник днем, любовница ночью, уверенная в своем маршруте, который не вел никуда.

А потом случилась авария. На высоте двух тысяч метров, среди ветра, заносившего нас то песком, то снегом, мы три часа пытались починить мотор, но все разобранные части тотчас покрывались песком, а мы так и не могли понять, что стряслось. Жан-Пьер, видно, позабыл, что я разбираюсь в радиоприемниках, а не в моторах, Валери же возилась с радиопередатчиком и посылала сигналы бедствия в пустоту. Попробовали поставить палатку, но ее сорвало. Консервы были в целости, но консервный нож испарился. Судьба и впрямь ополчилась на нас: Жан-Пьер, в жару и бронхитном кашле, с раздувшейся от воспаления ногой, обнаружил «счастливые предвестия» того, что мы приближаемся к Иргизу. Он уже слышал грохот плавильни, а стихии разбушевались потому, что сероликие люди спустили их с цепи, чтобы подать нам знак. Мне показалось, что он сходит с ума, но все было гораздо хуже: он впал в детство. Валери он называл Агнес, она его не поправляла, и я понял, что она знала почему. Мы его уложили на заднее сиденье, накрыв всеми одеялами, какие у нас были. Когда его грезы превратились в настоящий сон, она мне сказала, что пора кончать: доигрались. Как только буря утихнет, мы спустимся к Бу-Гемесу, там дважды в сутки проходит рейсовый автобус. Я возразил, что мы не можем возвратиться, не найдя Иргиз. Она закричала, мол, я сдвинулся: Жан-Пьер болен, и ему необходима «санитарная репатриация». Я отвечал, что во Франции его никто не ждет, его жизнь решается здесь, и нам надо доиграть все до конца, показав ему Иргиз, чтобы он мог закончить книгу. Она более не произнесла ни слова. Я запахнулся в куртку и привалился к дверце, дожидаясь, пока снежная буря перейдет в настоящую ночь.

Утром прояснилось, а Валери исчезла. Я бродил вдоль известнякового уступа, позволяя комьям льда, ломавшимся у меня под ногами, падать вниз, в ущелье, откуда донесся рокот мотора, затем скрежет тормозов: наверное, автобус подобрал нашего гида и устремился дальше. Она дала нам то, чего мы от нее ждали; теперь она была для нас бесполезна. Так что все шло к лучшему.

Когда я обернулся, Жан-Пьер куда-то шел напрямик по глубокому снегу, и его распухшая нога, казалось, больше не мешала ему. Я догнал его. Его глаза блестели от лихорадки, и взгляд скользил мимо меня. Он ткнул вперед пальцем:

– Это там.

Он шел к какой-то расщелине и улыбался. В нескольких метрах от нее он споткнулся, упал и уже не смог подняться. Я помог ему. Он дрожал всем телом, но, как мне показалось, не от холода, а от счастья.

– А ведь сегодня воскресенье!

– Да.

– Работают, Азиз... Все семь дней в неделю! Восемь плавок в сутки... Самый чистый металл в мире... Такой чистый потому, что его обрабатывают с особой точностью по десятку разных параметров. Электроплавка – это же курам на смех... Посмотри. Никогда железный лом, плавленный в электропечи, не заменит наших домен. Пойдем.

Я обнял его за плечи и поддерживал до самого входа в его плавильню, где в самой глубине, под лучами света, лившегося через какой-то проем, я заметил платаны и зонтичные пальмы Иргиза с доисторическими лошадками, сгрудившимися у источника, где пела, купаясь, женщина.

– Ты ее слышишь, Жан-Пьер?

– Да.

Каждый видел свою женщину, но слушали мы одну и ту же песнь. Холод снега под ногами и ослепительное солнце над головой объединили нас у входа в расщелину.

– Красиво, – сказал я.

– Да. Я никогда не должен был отсюда уезжать.

– Конечно. Но ведь ты наконец вернулся.

Он прошептал «спасибо» и тихо соскользнул в снег с улыбкой, остановившейся на губах.

Я отнес его к машине. Вынул у него из кармана блокнот. Тот слегка намок, и я оставил его просушиться на капоте. Из его портфельчика я вытащил разные бумажки, начало романа, которое он записывал на моем досье, а также большую черновую тетрадь с надписью «Лотарингия», где страниц сто были исписаны детским почерком. Все это я заткнул себе за пазуху, между теннисной и рубашкой. Потом камнем выставил доньшко коробки с тунцом, съел все, что в ней было, выпив и масло, чтобы придать себе сил, взвалил на плечи маленькое тело, такое легкое, что его груз ощущало только мое сердце, и пошел вниз по тропе.

Я останавливался каждые десять минут, чтобы поговорить с ним, так как подозревал, что он все еще со мной, вокруг меня – своей душой или грезами, не знаю, как выразить. . . Но его присутствие я ощущал. Какую-то дружескую теплоту, которая толкала меня: иди вперед, ты прав, ты все делал правильно, продолжай; какая-то аллергия на жизнь постепенно оторвала меня от моего тела, как от почвы, чтобы вознести к прошлым мечтам. Продолжай, Азиз, иди до конца, заверши мою историю, а я буду тебя вести. Ты был прав: я был твоим приятелем-попутчиком.

Через несколько часов навстречу мне выскочил большой старый американский «универсал». Оттуда вывалилась Валери и завопила:

– Вот видишь!

Я не возражал. Дремавший в машине ее отец открыл глаза и вышел, чтобы нам помочь. Это была какая-то оплывшая, бесформенная гора в синем теплом комбинезоне, застегнутом доверху: складки морщинистого, как Атлас, лица подрагивали при каждом движении, в них угадывались горные ущелья под бровями-ледниками. Его руки дрожали от пьянства, голова выставлена вперед, и можно было подумать, что ноги ее догоняют. Хорошо поставленный голос поражал глубиной и мрачностью.

– Осторожнее, мои лилии!

Мы сгребли в один угол поддоны с цветами в кузове, превращенном в оранжерею на колесах, чтобы укрыть там затвердевшее тельце моего гуманитарного атташе под листвой чего-то, напоминавшего дикий виноград. Опуская заднюю дверцу, он оперся на мое плечо и произнес голосом выдавшего вида человека:

– Я всем этим займусь. Тебя высажу в Табанте. Автобус на Варзат отправляется между двумя и четырьмя. Тебя никто не видел, тела не найдут, пройдет несколько недель до какого бы то ни было расследования. Деньги у тебя есть?

Я ответил, что у меня осталось пятнадцать тысяч франков из средств нашей миссии, но своего атташе я не покину.

– Послушай, старина, моего совета: растворяйся в пейзаже и дай о себе забыть. Ты меня понял?

– Делай то, что советует папа, – прошептала Валери.

– Я хочу доставить его домой.

Они переглянулись. Вид у Валери был раздосадованный, но она не проявляла никакого удивления. С металлическим стуком кулак ее отца опустился на капот.

– Ты смываешься или нет?!

Этот вопль лишил его равновесия, он попытался удержаться, ухватившись за радиоантенну, по губам потекла струйка слюны. Со всеми предосторожностями антиквара Валери усадила его, подогнув ему ноги и предусмотрительно положив руку ему на затылок, чтобы он не ударился о край кузова. Он позволил ей привести его в надлежащий вид, тотчас успокоившись и широко улыбнувшись, так что глаза совершенно исчезли в складках кожи. Валери захлопнула дверцу и обернулась ко мне. Прежде чем я успел раскрыть рот, она выпалила очень резко:

– Потрясающий человек! Здесь он творил гениальные вещи – я запрещаю тебе его судить. Никогда не знаешь, чем станешь, И здесь не его вина.

Я сказал, что понимаю. Она подхватила меня под руку и отвела подальше от машины. Она плакала. Мне бы так хотелось, чтобы она говорила еще, а я бы ее слушал, а потом увез бы с нами во Францию, но я чувствовал, что это совершенно невозможно.

– Что мы наделали, Азиз. Что мы наделали. . .

Я прошептал, что она не сделала ничего плохого и не обязана мне помогать.

– И как же ты намерен выпутаться в одиночку, посреди этих гор?

Я позволил молчанию отвечать за меня.

– Ты хочешь отвезти его в Марсель?

– Нет. В Париж.

Она со мной согласилась. Ветер трепал ее прямые пряди, в очки набился песок, и они едва не падали с носа, а мне так хотелось, чтобы она пожалела Жан-Пьера. Или влюбилась

в меня, что одно и то же. И я тихо произнес:

- Знаешь, он тебя любил.
- Знаю. Под другим именем, но какая разница.
- Агнес?
- Агнес.
- Он говорил тебе о Клементине?
- Вначале да. Немного. А потом совсем перестал.
- Тебе было с ним приятно?
- А это тебя не касается.

Ответ как ответ. Похоже на «да». Она спросила:

- Кто такая Агнес?

Я заметил, что это ее не касается, лишь бы не признаваться, что не знаю сам. Вдвоем мы сделали памятью Жан-Пьера, и все, что могли бы скрыть друг от друга, превращалось в способ еще немного продлить его жизнь, сделать ее полнее. Она осведомилась, был ли он католиком или кем-нибудь еще – чтобы помолиться за него. Я подумал вслух, что однажды мы, она и я, вновь найдем друг друга и займемся любовью, и это будет нашей молитвой. Она ничего не ответила, мы протянули друг другу руки и не разнимали их до самой машины.

– Может, отправим его через «Эроп ассистенс»? – предложил ее отец, наблюдавший за нами, опустив стекло. В руках он держал термос, из которого только что отпил, и теперь ему дышалось получше. На всякий случай я напомнил, что имею охранную грамоту короля.

- Давай-ка ее сюда.

Я отдал ему бумаги о моем выдворении в рамках гуманитарной акции. Он снова поднял стекло, чтобы их спокойно изучить. Валери поблагодарила меня. Она сказала, что ему необходимо иногда почувствовать себя нужным, изредка возвращаться в тот мир, из которого он ушел. Я не стал задавать лишних вопросов. Откуда люди приходят и кто они на самом деле – не моя забота, разве что им самим хочется о чем-нибудь таком поговорить. Валери и ее отец – это совсем другая история, в которой мне нет места, где я ничем не могу помочь.

Когда он открыл дверцу, я заверил его, что очень благодарен за помощь. Он же приказал сесть в машину и заткнуться, добавив, чтобы все стало понятно: он никогда никому не позволит умыкнуть у него дочь. В некотором смысле все было именно так, и я не отозвался на грустный взгляд Валери, обернувшейся ко мне, чтобы понять, уразумел ли я, что, собственно, мне было сказано. Поглядел бы кто на нас: за рулем она, рядом ее папаша, за окнами расплывчатые скалы, нечеткие от тряски по ухабам, а сзади я, пассажир в цветах, при каждом толчке придерживающий за ноги своего закоченевшего друга, – странная картинка жизни. Тут, пока мои пальцы немели, вцепившись в заледеневший носок, меня одолела совершенно сумасшедшая надежда: а вдруг бы Валери забеременела от Жан-Пьера, и тогда они оба, она и ее папаша, воспитывали бы сироту, рассказывая ему о потрясающем отце, обнаружившем долину сероликих людей. Валери перехватила мой взгляд в зеркальце и улыбнулась, не понимая чему, но видно было, что я внушаю ей доверие. :

Приехав в Марракеш, мы направились в какое-то административное заведение, где доктор д'Армере заполнил свидетельство о смерти и множество бланков по-арабски. Пока выполнялись эти формальности, я наблюдал, с какой гордостью Валери глядела на все, что проделывал ее родитель, и сам был горд за него. Поступь прямая и решительная, подбородок – вперед. . . Он подошел ко мне, протягивая бумаги, и объявил:

– Инфаркт.

Я поблагодарил. Привычным жестом он отмел мои благодарственные слова и другой рукой забрал у меня конверт с надписью «Французская Республика», где содержалась вся наша наличность. Затем спросил, явно что-то предлагая:

– Отправим диппочтой?

Я не понял, что он под этим разумел, но Валери за меня ответила, что это нам не пригодится. Разочарованно пожав плечами, он возвратился к тамошним клеркам и опять навел там шороху, а они при нем держались тихо и ходили по струночке. Наверняка раньше он был важной шишкой или слыл богачом. Часть денег, отпущенных для кашей миссии, пошла на оплату свинцового гроба и для того, чтобы дать кому следует. Потом мы уехали, уже без Жан-Пьера, которого доставят в аэропорт как официальный багаж соответствующие службы, о чем я получил должным образом заверенную бумагу, где именовался Азизом Камалем, особым эмиссаром похоронного ведомства при французском консульстве. Так, объяснил доктор, мне легче будет все уладить на таможне. Мое имя написали с ошибкой, однако я не думал, что это может чему-нибудь помешать.

На автостоянке доктор д'Армере, все еще бывший на взводе после стольких официальных бумажек, совершил странную вещь: он поднял заднюю дверцу своего «универсала» и вышнырнул все горшки с цветами на пыльный асфальт, где они разлетелись на куски в мешанине мятой зелени. Затем захлопнул багажник и бросил мне через плечо:

– Десять лет коту под хвост, да так оно и лучше.

Он притянул к себе дочь и крепко-крепко обнял, а она только слегка прижмурила веки, и я понял, что она мне благодарна.

Мы расстались с ней перед стойкой таможенного контроля. Отец ждал ее в машине. Мы подыскивали нужные слова, стоя там среди суетящейся толпы и держась за руки, чтобы отдалить последний миг или наверстать что-то, что упустили. Все не сказанное нами перелетало теперь из глаз в глаза, все недоразумения, сожаления, радости – вся суть разных важных пустяков. А потом, когда мне уже действительно надо было отправляться, она просто спросила:

– Твой Иргиз, это было красиво?

А я прошептал:

– Очень.

И наши жизни пошли по новому кругу, оттолкнувшись, может быть, от какой-то малости, пустого обещания, но мы были счастливы, что расставание не испорчено. Мы теперь знали, что уберем себя под защитой той последней секунды нашей близости, когда поняли друг друга, и нам стало хорошо.

Улетал я, весь раскиснув от слез, которые как нельзя более подходили к моей похоронной миссии.

В аэропорту Орли-Юг служащий бюро репатриации спросил меня, кого следует запросить на Кэ-д'Орсэ. Я ответил, что там предупреждены и нужный чиновник прибудет. Служащий удовлетворился моим ответом и указал автостоянку, предназначенную для этих целей. Я попрощался с ним и пошел в туалет, чтобы убить время ожидания. Когда я вышел, гроба не было. Я позвонил в справочную, и они дали мне телефон службы вызова. Там мне сказали, что грузовичок пришел с час назад. Ну, раз так, грузчиком пришлось наконец выплюнуть жвачку и пойти со мной грузить покойника. Я назвал адрес:

– Бульвар Малерб, сто семнадцать.

Потом я сел с ними в кабину, и мы тронулись молча, если не считать их слов соболезнования и моих – благодарности. Париж был хмур и скучен, к тому же дождлив, с пробками на улицах, а у меня перед глазами еще стояли Атласские горы, и я не мог судить, хорошо тут или нет. Ко всему прочему я исписывал, примостив блокнот на коленке, целые страницы объяснений, которые одну за другой тотчас рвал. И вспоминал Жан-Пьера, зачеркивавшего строчки в самолете. Ничего не поделаешь: видимо, Клементина вовсе не была той женщиной, писать которой – простое занятие. Не найдя нужных слов, я решил, что просто поговорю с ней.

Дом был старым, а лифт слишком мал, чтобы Жан-Пьер мог в нем поместиться. Грузчики потащили его по лестнице, я же отправился на разведку. Пятый этаж, левая дверь. Позвонил. Шикарный звонок, двойные створки, толстый ковер, по бокам в маленьких нишах канделябры. На визитной карточке, просунутой в прорезь именной таблички на двери, можно было прочесть: «Клементина Морэ-Шней». Достаточно будет просунуть карточку чуть глубже вправо, и фамилия Жан-Пьера исчезнет вовсе.

Я подождал, и мне открыли. Мужчина. В купальном халате. С видом человека, которого побеспокоили. Вот этого я не предвидел. Я пробормотал, что являюсь приятелем господина Шнейдера. Он поглядел так, словно я был царапиной на капоте его машины, повернулся ко мне спиной и позвал: «Титан!» Появилась мадам Шнейдер в шелковом бежевом домашнем платье, с кругами под глазами и натянутым выражением лица. Он встал рядом с ней – волосы ежиком, квадратная челюсть – и упер руки в бока. Его переносной телефон «Сони-лазер» лежал у вешалки, на которой висел его же фирменный дождевик.

Она спросила:

– В чем дело?

Посмотрел я на эту парочку, и решение пришло за три секунды. Клементину я заверил, что произошло недоразумение. Вышел на лестничную площадку. На четвертом нашел грузчиков, велел им поворачивать, и они спустили Жан-Пьера вниз. Когда борт грузовичка подняли, я попросил у водителя карту Франции. К счастью, Юканж действительно существовал. На востоке, название мелким шрифтом, недалеко от Тионвиля, набранного жирным. Запыхавшиеся, недовольные грузчики заявили, что их радиус действия ограничен пригородом Парижа. Тогда я вытащил конверт с грифом Французской Республики и рассчитался с ними. Потом велел выгрузиться в гараже Бино, где, судя по объявлению из газетки, что валялась на приборном щитке, продавался фургон марки «Ситроен-С35» выпуска 1980 года, цена которого вполне отвечала сумме, что осталась от средств на мою миссию.

Окно выходит в садик, перед ним – яблоня, с которой ветер сдувает последние следы заводской сажи. В его комнате все оставлено «как было». На кровати покрывало с пятнами чернил, на полочке – ряд игрушечных машин, в книжном шкафчике – стопка чистых тетрадей для черновиков, а на школьном секретере из отлакированной сосны – фотография: Агнес в рамочке, брюнеточка, еще не вышедшая из школьного возраста, с таинственной улыбочкой, превратившаяся теперь, к несчастью, в тяжеловесную блондинку (я ее вчера видел), мать троих детей и жену безработного, как и все здешние женщины, с тех пор как завод закрыли.

Родители сначала встретили меня довольно прохладно, но потом, когда я рассказал свою историю, все образовалось. «Ситроен» я отогнал на стоянку у Конфорамы, чтобы на первых порах для пристрелки иметь свободные руки. Когда я постучал в застекленную дверь их кухоньки, примостившейся за маленьким квадратным флигельком под грязно-красной черепицей, задымленной трубами потухших доменных печей, мать гладила, а отец пил кофе за столом, перед раскрытой газетой, подперев кулаком щеку и уставясь в стену. Я их тотчас узнал. Чуть погрузневшие и погрузневшие, они почти не переменились с того дня, как Жан-Пьер оставил их на Восточном вокзале, на последней странице своего блокнота. Разве что красноты на лицах поприбавилось.

Я сообщил им, что явился по поручению их сына. Мамаша тотчас впала в истерику: «Боже мой, с Жераром что-то случилось!» Жерар – брат, одним словом, тот, второй сын, еще живой, он как раз уехал за тридцать километров отсюда на работавшую покуда доменную печь. Как мог, я успокоил их: мол, прибыл от другого. От Жан-Пьера. В комнате воцарилось ледяное молчание. Мамаша открыла было рот, взглянула на отца. . . и вновь взялась за утюг. Папаша перевернул страницу газеты и стал читать.

Прошло какое-то время, и поскольку я еще стоял на пороге, он медленно объявил.

– Жан-Пьера больше нет.

Конечно, это облегчало мою задачу: достаточно было бы подхватить его фразу. Но я не смог. Мне представился «ситроен» на стоянке у Конфорамы, а внутри – ожидавший Жан-Пьер. Чего ожидавший? Новой встречи? Ямы в земле? И вдруг цель моего путешествия показалась мне мелкой, мерзкой, совершенно идиотской. Чего я добиваюсь? Подарить им мертвеца вместо живого, но навсегда вычеркнутого из их жизни? Нет, блудный сын так не возвращается. Я ошибся легендой.

Единым духом я выпалил Шнейдерам, что Жан-Пьер стал пленником банды марокканцев из Иргиза, куда французское правительство поручило ему меня откомандировать. Мы попали в засаду, потом меня освободили как не представлявшего в качестве заложника никакого интереса, а моему гуманитарному атташе удалось переправить со мной свои бумаги, а также устное послание к его родителям. Вот его текст: «Простите за вокзал и за все, я люблю вас».

Кухня опустела, как после подземного толчка. Они бросились к окнам, к телефону, на их крики сбежались соседи, все семейство, приятели с завода, они оповестили мэрию, своего профсоюзного делегата, местную газетку. Я пустил в ход механизм, а сам оказался слегка на обочине. Что бы там ни было, весть о плене сына воскресила их секунд за десять. Они говорили, что подпишут петицию, соберут выкуп, обратятся к депутату, создадут комитет и от его имени отправятся к префекту Меца.

В сутолоке людей, заполонивших флигель, требующих подробностей о похищении, я тихонько улизнул. В моих глазах эта история еще не имела ни формы, ни смысла: мне просто хотелось примирить Шнейдеров с их сыном, прежде чем дать ему умереть как герою, чтобы они сожалели о нем, как он того стоит. Я собирался минут через пятнадцать сообщить им об официальной версии, а потом принести все возможные извинения и представить гроб в

фургоне. А потом, когда бы прошел первый шок, они бы оценили мою деликатность. Впрочем, пока изменялась только концовка: поскольку мобилизовано столько людей, мы, быть может, получим похороны регионального масштаба.

Раз двадцать я прошел из конца в конец стоянку у Конфорамы. Я рыскал, как пес, но мой «Ситроен-С35» испарился. Минут через сорок я уразумел, что, наверное, в этом – перст судьбы, а потому прекратил поиски и расспросы ничего не видевших прохожих и пустил все на самотек. А про себя подумал, что моя оторопь – ничто по сравнению с тем сюрпризом, какой я приготовил вору. Воображаю, что он подумает, когда откроет заднюю дверцу, чтобы осмотреть добычу.

Долго еще я каждое утро штудировал хронику в «Републикен лоррэн». Ни следа фургона и его груза. Занятнее всего, что я вовсе не чувствовал вины. Напротив, сама действительность, если так можно выразиться, сделала правдоподобным мой вымысел.

Пешком я направился к маленькому городку с погасшими огнями и брел среди замкнутых на ключ флигельков, полуотклеенных и размытых дождем плакатов, оставшихся с прошлых митингов протеста, мимо домов без балконов с хлопавшими на ветру табличками «Вскоре освободится», «Продается», «Сдается внаем». Шаги эхом отдавались на пустых улочках. Я чувствовал себя одиноким в призрачном городе, который только и желал, что вынырнуть из забвения. Я исколесил пол-Франции (хотя и не в длину, а в ширину), и мною двигала мысль о высоком значении моей миссии. А потому я не имею права вот так исчезнуть. Притом исчезнуть – куда? Мне нужно было дойти в этой истории до конца.

Поскольку у меня осталось пять франков, я позвонил в Министерство иностранных дел. Подделав арабский акцент, я попросил секретариат Лупиака. А потом сообщил, что беру на себя похищение Жан-Пьера Шнейдера, будучи членом тайной группы действия против строительства шоссе СТ-1808: Франция должна вынудить Марокко остановить дорожные работы, угрожающие существованию Иргиза. В ином случае заложник будет уничтожен без предупреждения. Секретарь в панике попытался соединить меня с кем-нибудь, кто владеет ситуацией, но у меня кончились монетки.

Когда я возвратился во флигелек, они приняли меня как кинозвезду, еще бы: я вырвался из плена. Они так боялись, что я сбегу. «Вы же видите, я ничего не придумал!» – орал во всю глотку папаша, подпихивая ко мне новоприбывших. Я скромно опускал глаза. Но вот заговорили о том, что нужно вызвать жандармов, надо же им запротokolировать мои свидетельские показания. Пришлось объяснить, что я вернулся в страну, только чтобы оказать услугу их сыну, а у меня самого положение не вполне законное и мне нельзя показываться властям.

К счастью, задрезжал телефон. Звонил полномочный представитель Кэ-д'Орсэ, который спрашивал, получили ли родители Шнейдера, облеченного специальной миссией в Марокко, свежие известия о сыне или требование выкупа. Он сказал, что обоснованность предъявленных правительству требований проверяется, что марокканские власти уже предупреждены о существовании противозаконных формирований, однако пока что, на текущий момент, конечно, было бы неразумно принимать какие-то слухи всерьез и тем более волноваться: они сделают все возможное и невозможное.

Папаша положил трубку со слезами на глазах. Мать бросилась ему в объятия, он стал успокаивать ее, поклялся, что с Жан-Пьером хорошо обходятся, он скоро вернется, и они все отправятся в Париж. Она в слезах только качала головой. Обида на сына их мало-помалу подтачивала, а вот надежда мгновенно возвратила к жизни.

Когда позвонили жандармы, мамаша быстренько ухватила меня за руку и утащила в комнату сына, чтобы я не отвечивал. Я отдал ей его ученическую тетрадь и блокнот с путевыми заметками. Сказал, что там – все, достаточно лишь придать этому какую-никакую форму и отдать любому издателю. Таково пожелание Жан-Пьера. Теперь, когда он стал заложником, с фотографиями в «Пари-матч», он имеет все шансы быть напечатанным и прочитанным.

С полуоткрытым ртом, она глядела на сыновнее произведение, держа его в руках так осторожно, словно то был Младенец. Со стыдом в голосе она выговорила фразу, услышать которую я не ожидал. Губы у нее дрожали, она тщетно пыталась сохранить улыбку, не желавшую держаться на побагровевшем лице. Она выдавила из себя:

– Он пишет слишком мелко.

Только не надо ничего говорить отцу, но дело в том, что се бедные глаза уже ничего не разбирают. Не соглашусь ли я прочитать ей вслух? И прибавила, что до меня у Жан-Пьера никогда не было друзей, я могу здесь остаться на несколько дней, если у меня есть время. А

ей будет так приятно слышать шаги в комнате ее сыночка.
Что ж, время у меня было.

Сперва я попытался просто сделать примечания на страничках самого Жан-Пьера, высказать свое мнение, что-то объяснить или предложить другую версию, когда был несогласен. Но после пятнадцатого замечания на полях одной страницы, когда мои замечания оказались длиннее самого текста, я решился написать маленькое предисловие, скажем, в качестве противовеса. Мне показалось очень важным изобразить и Жан-Пьера, увиденного моими глазами, самому описать нашу встречу, чтобы читатели могли представить все полнее.

Вот так и получилось, что я просиживаю по десять часов в день за его секретером, гляжу в окно, подыскивая слова в листве яблони. Рассказ мой я начал со страницы семь, чтобы придать себе смелости, как будто шесть первых – уже написаны. Действие начинается в Марселе. В его тапочках, которые мне малы, сжимая в пальцах ручку со следами его зубов, я рассказываю собственную жизнь, чтобы у его книги было предисловие.

Днем его мать приносит мне чай с куском кекса. Она говорит, что малыш очень его любил, но теперь пироги ей не так удаются, как раньше. Я протестую с набитым ртом. А потом она прибавляет, что не хотела бы меня беспокоить, наверное, ей лучше уйти. Но спиной я ощущаю ее взгляд: она воображает его на моем месте, сгорбившегося над тетрадкой, где вытеснено: «Золотарингия» («Чугун – золото Лотарингии» – гласит девиз на желтой обложке). Я стараюсь писать, как он, пить его чай и любить все, что он любит.

Однажды утром, в четверг, пришла Агнес. Под тем предлогом, что ей нужно вернуть кастрюлю. Она поднялась ко мне, чтобы спросить (тайком, потупив глаза), есть ли в книге что-нибудь о ней. Но ее дети устроили шум на кухне, и звон разбитого стакана освободил меня от надобности отвечать. С отчаянным вздохом она бросилась вниз, на ходу скороговоркой пробормотав, что вернется, когда сможет.

Мне очень нравится то, как они все ждут, посматривая то на телефон, то на почтовый ящик, то на дверь моей комнаты. С Кэ-д'Орсэ больше не звонят, но предисловие подвигается. Оно даже рискует оказаться гораздо длиннее, чем предполагалось. Несмотря на все старания, мне не удастся втиснуть в три страницы Лилу, цыган, Валлон-Флери и господина Жироди.

В конце концов тот роман от первого лица, который Жан-Пьер хотел написать от моего имени, похоже, все-таки рождается. И мне даже кажется, что автор все лучше чувствует себя в моей шкуре.

Проходят дни, похожие один на другой. Обеды хороши, и на столе передо мной ставят кольцо для салфетки Жан-Пьера, а я начинаю лучше понимать, какую жизнь он бы вел, если бы остался здесь. Отец отвез меня поглядеть на плавильню в Жёф. Именно там отливали ядра для солдат II года Республики, объяснял он, шагая по пустырю, заросшему кустарником, среди которого валялись ломаные формы для отливки. Завершая воспоминания об исчезнувшем заводе, где он начинал, он оглядел опустевший пейзаж, подмигнул мне и произнес:

– Жёф сожрала сталь, а скоро она и Юканж прикончит.

Тут он рассказал мне удивительную историю доменных печей, доведенных до ручки их собственными клиентами: когда-то руда, обработанная в них, становилась чугуном, который шел в сталелитейное производство; теперь же сами домны, превращенные в железный лом, бросают в электропечи для получения стали. Муайёвр, Обуэ-Омекур уже прошли через это, потом настанет черед Жёфа и Юканжа. Столетнее мастерство лучших доменщиков, продававших свой чугун везде, вплоть до Америки, не находит спроса, сами они сделались кандидатами на досрочную пенсию, безработицу, профессиональную перековку. Молодым, таким как Жерар, предложили работу в иных производствах, например кладовщиком куда-нибудь в Нормандию или контролером продукции у Сопике. Это у них называется «социальное планирование».

Жерар, бывший литейный мастер с завода «Золотарингия-Юканж», предпочел начать заново с простого наладчика на другом чугунолитейном заводе, получившем отсрочку. На все вопросы он отвечал: «А ты представляешь меня измеряющим толщину сардинок и число хрящей макрели?» Признаться, я тоже не представлял его за таким занятием. Он никогда не покидал своего департамента Мозель, не пытался справиться с акцентом в отличие от брата, хотя похож на него, только крупнее, топорнее и проще. Хорошо иметь брата.

По воскресеньям, когда они с женой приезжают сюда к завтраку, он учит меня играть в шахматы. В детстве им с Жан-Пьером приходилось держать рот на запоре, когда отец уходил в ночную смену, а потом отсыпался до захода солнца. Чтобы не шуметь, Жан-Пьер сочинял всякие истории, а Жерар играл сам с собой в шахматы. Он бросал жребий, чтобы узнать, за кого ему болеть, за белых или черных. Он то давал сам себе тумака, то почтительно кланялся себе же; при игре вдвоем, со мной, все куда проще: надо сказать, он всегда выигрывает.

Когда речь заходит о Жан-Пьере, он становится мечтателем. Завидует брату со дня его отъезда. Сам, будь у него талант, уехал бы куда-нибудь. Но он старший сын, его место подле отца. Он должен наследовать славное ремесло литейщика.

– Знаешь, стоит однажды втянуть носом запах лавы, увидеть, как она потекла, почувствовать огонь, который можно держать руками, и ты – его хозяин, когда заводской гудок отмеривает твои дни и зовет тебя к товарищам, ты никогда не сможешь притерпеться к чему-нибудь другому. Не получится, и все тут. Теперь тут, в Юканже, стало тихо, и всем от этого тошно. Конечно, в округе стало меньше грязи с тех пор, как трубы не копят воздух, но они говорят, что копать осела в наших сердцах.

– Напиши об этом в книге, – говорит его дружок Ги, муж Агнес, рыжий парень, которому, похоже, суждено кончить дни за кружкой пива, потому что он пренебрег социальным планированием: не захотел служить кладовщиком в Нормандии. И техником службы наружного наблюдения в Бресте тоже – и все из-за флигеля, который он только что наконец оплатил, а продать его теперь и не надеется из-за работы Агнес – она служит в мэрии, и еще потому, что давно договорился с тестем из Тионвиля, чтобы дети Агнес поработали учениками в его мясной лавке. . . – Напиши об этом, пожалуйста, в книге, Азиз. Пусть знают.

Я пишу.

Как-нибудь я приглашу Агнес, чтобы прочесть ей твои последние страницы. Она войдет в твою комнату, сядет на твою кровать и вновь узнает твой голос. Наверное, пожалеет, что сказала тебе «нет» в тот день, когда принесли рогалики с известкой. Может быть, ей одной я и открою истину. Расскажу, что ты нас покинул, сжимая ее в объятиях, с ее именем на устах, что смерть похожа на пустырь в Жёф, где призраки людей упрямо продолжают плавить чугун.

А однажды, если Агнес захочет, вы с ней займетесь любовью. Я буду за тебя.